

М. А. БУЛГАКОВ

3

А

A close-up, high-contrast portrait of a man, likely M. A. Bulgakov, with a serious expression. The lighting is dramatic, with one side of his face in shadow. The background is a deep red color.

М. А. БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

В настоящем томе впервые печатается нецензурированный текст повести „Роковые яйца” и повести „Собачье сердце” (не только не издававшейся в СССР, но и арестованной там). К тому же, впервые все три повести Булгакова приводятся вместе — что позволяет оценить их единство. В них налицо общность тем и стилистических приемов — на этапе, когда Булгаков отошел от исторического и биографического материала времен гражданской войны и обратился к современной городской жизни, с ее буйством и противоречиями.

В повестях, как нигде более, Булгаков показывает свое мировоззрение и отношение к мироозвращению „новых людей”; он предпочел „великую эволюцию” революции. Именно поэтому ни „Дьяволиада”, ни „Роковые яйца” не перепечатывались после 1925 года. — Что касается „Собачьего сердца”, как пишет Э. Проффер в предисловии к настоящему тому:

„Впервые Булгаков прочел „Собачье сердце” редакторам „Недр” в феврале 1925 г. Они тотчас признали это произведение замечательным и начали долгую, и, в конечном счете, безуспешную борьбу за его опубликование. 21 мая они в первый раз вернули рукопись Булгакову, предложив ему отослать „выправленный” вариант (по всей видимости, цензору) вместе с письмом: „авторское, слезное, с объяснением всех мытарств и пр.” Булгаков посчитал такое предложение оскорбительным, подчеркнул слово „слезное” — и на этом дело оставил. Летом 1925 г. Ангарский, не желая оставлять крупное достижение русской прозы неопубликованным, возобновил свои попытки. Годом позже повесть привлекла внимание чекистов, явившихся на квартиру к Булгакову и конфисковавших рукопись вместе с дневниками писателя”.



М. А. БУЛГАКОВ

3

2





М. А. БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

3

П О В Е С Т И

*Составление, общая редакция,
предисловие и комментарии
Эллендеа Проффер*

А Р Д И С / А Н Н А Р Б О Р

Михаил Булгаков
Собрание сочинений, том 3
Предисловие и комментарии Э. Проффер

Copyright © 1983 by Ardis
All rights reserved.

Published by Ardis,
2901 Heatherway,
Ann Arbor, Michigan, 48104.

Library of Congress Cataloging in Publication Data

Bulgakov, Mikhail Afanas'evich, 1891-1940.
Povesti.

(Sobranie sochinenii / M. A. Bulgakov ; 3)
Contents: D'javoliada — Rokovye iaitsa — Sobach'e
serdtse.

I. Proffer, Ellendea. II. Title. III. Series:
Bulgakov, Mikhail Afanas'evich, 1891-1940. Works. 1982 ; 3.
PG3476.B78 1982 vol. 3 891.73'42 83-22514
ISBN 0-88233-698-3 (v. 3)

ПРЕДИСЛОВИЕ

*Сатира действительно, как известно
всякому грамотному, бывает честная,
но вряд ли найдется в мире хоть один
человек, который бы предъявил влас-
тям образец сатиры дозволенной.*

„Жизнь господина де Мольера“

I

Годы с 1923 по 1925 были критическими в эволюции Булгакова как прозаика. В этот период совершенствовался его стиль, что заметно если последовательно сравнить произведения, написанные в это время: „Дьяволиада“, „Роковые яйца“ и „Собачье сердце“. Повести принадлежат к одному жанру,¹ но объединяет их не только это.

Как часто отмечалось, в этих произведениях словесно присутствует черт — в таких, на первый взгляд, безобидных восклицаниях как „черт его знает“, „дьявол с ним“ и т.д., — но значение этих восклицаний не было рассмотрено. Ссылки на черта есть намек на нечистую силу, вызвавшую катаклизмы, вокруг которых строится каждое из этих произведений. По крайней мере, именно так события зачастую воспринимаются персонажами. Однако при ближайшем рассмотрении легко установить, что именно персонажи несут реальную ответственность за происходящее — подмена ли это куриных яиц змеиными или же создание чудовища в человеческом облике. Персонажам хотелось бы думать, что существует другое, более дьявольское объяснение, но Булгаков ясно дает понять, что жуткие силы, действующие в мире этих повестей, — вовсе не чертовщина, а человеческое невежество и алчность. Постоянные же обращения к дьяволу и сатанинской силе, приписываемые некоторым из персонажей произведений, вполне ироничны. Лишь в последнем романе Булгакова дьявол, наконец, предстает собственной персоной, но и там люди затевают куда больше чертовщины, чем он.

Как отмечает Чудакова, эти повести оказали влияние на прозу двадцатых годов. Ильф и Петров, работавшие рядом с Булгаковым в журналистском мире Москвы, начали писать свой первый роман через два года после напечатания повестей „Роковые яйца“ и „Дьяволиада“. Влияние Булгакова на роман „Двенадцать стульев“ как и на рассказы Каверина, Катаева и других писателей несомненно. Надо также иметь в виду, что несмотря на то, что публике повести и рассказы Булгакова были мало известны, писатели их читали — и изучали.²

II. „Дьяволиада”

В двадцатых годах, недолгое время, выходил альманах „Недра”, возглавлял его Ангарский, — он и поместил на страницах альманаха „Дьяволиаду”, надеясь, что она придет по вкусу читателям, уставшим от всякого рода экспериментаторства. Одним из читателей, посчитавших это произведение самым значительным в числе помещенных в четвертом номере „Недр” (1924), был Евгений Замятин, автор знаменитого романа-антиутопии „Мы”. Замятин был влиятельным критиком и все еще числился в секретариате ленинградского Союза писателей — несмотря на свой наделавший шуму роман, который ему не удалось опубликовать в России. Его политическое лицо, возможно, вызывало у некоторых подозрения, но его литературные суждения пользовались авторитетом.

Мнение, высказанное Замятиным в его рецензии на „Недра”, вскрывает многие из литературных и общественных проблем середины 20-х годов, а также объясняет позицию Булгакова на литературной сцене того времени, и потому оно заслуживает внимания. Большинству включенных в этот сборник вещей Замятин устроил суровый разнос. Особенно не по вкусу пришлись ему романы „В тупике” Вересаева и „Железный поток” Серафимовича. Вересаев, входивший в редакционный совет „Недр”, был писателем во всех отношениях старомодным, и вполне понятно, почему его проза не вызвала у Замятина большого интереса. Но роман Серафимовича, впоследствии провозглашенный классическим произведением советской литературы, был не лишен оригинальности, притом его героями были сами народные массы. Замятин выразил раздражение по поводу оперного тона и высокопарного стиля романа, но некоторые сцены нашел достойными внимания. Другая вещь, „Рассказ профессора” Сергеева-Ценского, получила более высокую оценку как пример „неоклассицизма”, который Замятин поставил гораздо выше „псевдоклассицизма” Серафимовича. Поэзия сборника, по мнению критика, столь же безвдохновенна, как и большая часть прозы:

В подборе стихов „Недра” еще выдерживает реалистически-бытовое целомудрие, — выдерживает так строго, что стихи Кириллова, Полонской, Орешина — одинаковы как гривенники: из шести напечатанных стихотворений в четырех даже метр у всех авторов один и тот же — четырехстопный ямб.

Что понравилось Замятину, так это „Дьяволиада“:

Единственное современное ископаемое в „Недрах“ — „Дьяволиада“ Булгакова. У автора, несомненно, есть верный инстинкт в выборе композиционной установки: фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин — одна из тех „немногих“ формальных рамок в какие можно уложить наше вчера — 19, 20-й год. Термин „кино“ — приложим к этой вещи тем более, что вся повесть плоскостная, двухмерная, все — на поверхности и никакой, даже вершковой, глубины сцены — нет. С Булгаковым „Недра“, кажется, впервые теряют свою классическую (и ложно-классическую) невинность, и, как это часто бывает, — обольстителем уездной старой девы становится первый же бойкий столичный молодой человек. Абсолютная ценность этой вещи Булгакова — уж очень какой-то бездумной — не так велика, но от автора, повидимому, можно ждать хороших работ.³

„Дьяволиада“ — это бросок очертя голову в городскую жизнь, и вполне закономерно, что герой кончает самоубийством, бросаясь вниз с одного из самых высоких зданий Москвы. Здание в повести насчитывает десять этажей, в точности как здание Нирензее, и множество кабинетов и коридоров, подобно Дому труда, где помещалась редакция „Гудка“. В описаниях и в развитии действия присутствует налет немецкого экспрессионизма, причем все происходит с кинематографической скоростью.

Сюжет повести, подобно сюжетам „Собачьего сердца“ и „Роковых яиц“, вращается вокруг элементарной, но критической ошибки. Кроткий и довольно скучный герой, Коротков, работающий на спичечной фабрике, неправильно расслышал имя своего начальника и прочел его подпись как „кальсоны“ вместо Кальсонер. Поскольку эта подпись прочитывается героем как часть приказа, и приказ этот им передается, его выгоняют с работы. На протяжении повести Коротков одержим навязчивой идеей объяснить начальству свою ошибку. Это его стремление безнадежным и комическим образом осложняется тем фактом, что в игру втянуты два комплекта двойников — двойник есть и у Короткова, и у его начальника. В этом произведении традиционная русская тема двойника обыгрывается до гротескных пределов: бедный Коротков, обвиненный в донжуанстве (свойство его двойника), начинает сходить с ума после погони за двумя Кальсонерами по бесконечным бюрократическим коридорам. Вскоре он приходит к заключению, что все это — дьявольские козни.

Помимо всего прочего, у Короткова украли документы,

и он не в состоянии удостоверить собственную личность. Поскольку документы может восстановить только управдом, а он в отлучке, назревают серьезные последствия: без документов Коротков не существует. От небытия к самоубийству только шаг, и погоня, в которой принимают участие различные двойники, выносит его на крышу и приводит к финальному прыжку.

Трудно принять эту историю всерьез как осуждение бюрократии, хотя бюрократическая структура изображена не менее гнусной, чем у Салтыкова-Щедрина или Сухово-Кобылина. Похоже, что Коротков сам является источником большинства своих неприятностей. Его собственная глупость и истерика закрывают ему глаза на очевидные объяснения: у одного из двух Кальсонеров есть борода, отсутствующая у другого, и вполне можно бы уяснить, что имеешь дело с двумя разными людьми. Коротков представляет собой нечто вроде пародии на традиционного „маленького человека” русской литературы, но искать в его истории приговор всему обществу было бы напрасной тратой остроумия. Люди с политическим уклоном мысли, как в про-, так и в антисоветскую сторону, найдут в этой истории политические аспекты, но мне, вместе с Замятиным, кажется, что сюжет здесь — лишь предлог, чтобы представить последовательность ослепительных эпизодов, связанных с популярными в начале двадцатых годов московскими достопримечательностями. Налицо обычные для Булгакова намеки на демонов и магию, хотя бы в фантастической образной системе, а запах серы — вполне естественный для спичечной фабрики — подразумевает адский пламень. Так, в эпизоде, где Коротков наблюдает за падением одного из двойников, последний как будто превращается в черного кота со светящимися глазами, который затем свергывается в клубок и прыгает в разбитое окно. Другой персонаж, связанный с бесовской линией, — это часто появляющийся маленький старичок, явно представитель темных сил, со зловеще сверкающими глазами. Все это — первая проба материала, который затем пойдет в „Театральный роман” и „Мастера и Маргариту”.

Отделка комических сцен уступает более поздним вариантам. Так например, сцена кошмара с пишущими машинками является ранней версией сцены в конторе из „Мастера и Маргариты”, где банда Воланда заставляет весь штатный состав петь в унисон. В данном случае Короткову мерещатся тридцать машинисток, отплясывающих канкан вокруг письменных столов под аккомпанемент звонков

пишущих машинок, наигрывающих фокстрот.

В конце Коротков решается на прыжок, лишь бы не сдаться своим преследователям — но он полагает, что летит вверх, а не вниз, „затем кровавое солнце со звоном лопнуло у него в голове, и больше он ровно ничего не видал”. Это описание очень близко к эпизоду гибели Берлиоза в последнем романе Булгакова.

Здесь очевидно влияние Гоголя (в особенности „Носа” и „Шинели”), и хотя заметные отголоски „Двойника” Достоевского также налицо, Булгаков модернизирует многие из их приемов. Стиль повести, с его внезапными галлюцинаторными метаморфозами и неувязками, реализованными метафорами и детальной регистрацией движений и жестов персонажей и цветовых оттенков, чем-то сродни гоголевско-достоевской „натуральной школе” 1840-х годов; многие из этих приемов были также характерны для 1920-х. Современность „Дьяволиады” — в быстроте действия и сжатости. Как отметил Замятин, нас притягивает то, что лежит на поверхности — настоящей психологии почти нет. Вместо внутреннего монолога — диалог, строить который у Булгакова был настоящий талант. Он построен на включении огромного разнообразия глаголов речи: персонажи поют, пищат, дребезжат — и лишь изредка просто говорят.

Такое обилие образов в повести происходит от того, что автору весьма по душе изображаемая им эпоха. Восхищение вызывают лифты, небоскребы и общественный транспорт; звук, производимый пулеметом, сравнивается с „оглушительной” швейной машинкой Зингера, и т.д. Как в фильме Чарли Чаплина, в этом произведении современные машины и фон используются для установления контраста с обликом старомодного героя. Однако, в отличие от Чаплина, Булгакову не удается хорошо смешать все компоненты. Глупость героя, скажем, не уравновешивается чертами, вызывающими симпатию. Коротков очень смешон, когда он, в своей манере буквалиста, бьет Дыркина канделябром, но когда, четыре страницы спустя, Коротков погибает, читателю можно простить отсутствие особого сочувствия. В отличие от героя „Театрального романа”, с которым у него есть явное сходство, у Короткова нет никакого таланта, который говорил бы в его пользу. В начале он предстает невротиком, а в конце — сумасшедшим, одержимым навязчивой идеей. В этом он смахивает на гоголевского Акакия Акакиевича, но сочувствие к нему вряд ли возможно. Коротков живет в мире людей, уподобленных механизмам, но и сам он к

концу превращается в автомат, у которого осталось очень мало человеческих черт.

В этой первой реальной попытке фантастической прозы Булгакову удалось совместить фантастический гротеск с остро подмеченными деталями московской жизни, и ему нужен был лишь сюжет получше, чтобы дать опору своему стилю — таким был сюжет „Роковых яиц”, в общих чертах позаимствованный у Г. Уэллса.

III. „Роковые яйца”

Исходным пунктом для сюжета наиболее популярной повести Булгакова была „Пища богов” Уэллса, но, как указала К. Райдел,⁴ Булгаков использовал для своего сюжета только первую треть английского романа, причем намерения этих двух произведений совершенно различные. Уэллс был научным фантастом чистой пробы и в своем романе радостно предсказал будущее, в котором детям дают специальную пищу (в настоящем она вызывает катастрофы), отчего они становятся как боги. Булгакова описание устройства будущего не интересовало. В своих фантастических произведениях он обращается к этой теме только однажды, в пьесе „Адам и Ева”. Подобно другим произведениям Булгакова, „Роковые яйца” — это сатира с элементами научной фантастики, имеющая целью рассмотрение сегодняшних, а не будущих проблем.

Повесть была закончена в октябре 1924 г., вскоре после чего автор прочитал ее друзьям и коллегам, а затем она была опубликована в шестом выпуске „Недр”, вышедшем около февраля 1925 г. Впоследствии, в сокращенном виде, она печаталась с продолжениями в „Красной панораме” под названием „Красный луч”.⁵

События развиваются в „Роковых яйцах” самым непредсказуемым образом. Это — сатирическое пародийное повествование о вышедшем из-под контроля научном эксперименте в Советской республике 1928 года. В числе его сатирических мишеней — журналисты, и эту повесть можно — и следует — рассматривать в контексте массовой журналистики 1920-х годов, на что указывает Чудакова. Журналисты того времени (и не только в России) были, по всей видимости, одержимы наивной верой в то, что в любой момент можно ожидать великих научных свершений, и даже в то, что эпоха таких свершений уже наступила. Описание желтой

прессе, воплощенной в характере Бронского, который и дает толчок развитию сюжета, сатирически заострено и демонстрирует хорошее знание материала. Булгакову явно пошел на пользу его опыт вращения в московском газетном мире, повествование изобилует шутками для посвященных, искажениями хорошо известных имен и жаргонными словечками новой эпохи.

Основные элементы сюжета хорошо знакомы: одержимый ученый, его преданный ассистент, поразительное открытие и кошмарные последствия злоупотребления или недопонимания. Но тот факт, что Булгаков относит время действия к 1928 году, всего лишь через три года после публикации, указывает на то, что произведение это вряд ли можно отнести к жанру научной фантастики. За эти три года мало что изменилось, и читателю-современнику было ясно, что в повести описывается Москва середины 20-х годов.

В начале повествования рассказчик возлагает вину за непоименованную катастрофу на ученого Персикова. Профессора Персикова, говорит он, следует считать „первопричиной той катастрофы”. Но Персиков, как и многие другие ученые персонажи в литературном мире Булгакова, возбуждает в авторе как бы двойственные чувства. Булгакова восхищали компетентность и достижения в науке — и отец его, и брат были авторитетами в своих областях, — и сам он, выбрав для себя вначале медицинскую карьеру, планировал себе великую будущность над микроскопом. Но в то же время Булгаков остро чувствовал, к чему может привести абстрактный научный интерес — взять хотя бы газы, применявшиеся в Первой мировой войне. По мнению Булгакова, опасно не учитывать общественные и политические последствия научного открытия — тогда как Советский Союз, стремясь прорваться на передний край науки, был склонен их игнорировать, по крайней мере в печати. Булгаков с уважением относился к высоким научным традициям, но скептически — к рационализму науки и к предполагаемому золотому веку, который с этой новой наукой должен воцариться. Наука фактически заняла место религии в популярной советской культуре, широко распространилась вера в прогресс через посредство техники. Несмотря на всю зависимость „Роковых яиц” от Уэллса, эта повесть в действительности представляет собой вариацию на фаустовскую тему: человеку не следует узурпировать всемогущество Бога.

Персиков, возможно, и напоминает персонажей Уэллса, но у него есть прототип в жизни — родственник Л. Е. Бело-

зерской, Евгений Тарновский, человек исключительной эрудиции.⁶ Персиков, с его резким темпераментом и всепоглощающим интересом к зоологии, во многом сродни Фаусту. Преследующие его неприятности начинаются с того, что он открывает реакцию амёб, случайно подвергшихся действию некоего красного луча. Этот луч увеличивает как размеры, так и свирепость облученных организмов. Слухи об этом открытии немедленно расходятся по Москве.

Профессор — не читающий газет, т.к. он считает, что в них нет ничего, кроме чепухи, — не подозревает, что в стране свирепствует куриный мор и предпринимаются различные попытки решить проблему нехватки яиц. Журналист Бронский публикует репортаж о действии луча. Прослышав об открытии, глава сельскохозяйственной коммуны Рокк уверен, что оно покончит с куриным кризисом. Он приезжает в Москву, чтобы склонить профессора к сотрудничеству.

Рокк — персонаж отрицательный, внешне во многом напоминающий Кальсонера из „Дьяволиады“. Когда он впервые заходит в кабинет профессора, вся обстановка представляется ему адской, а сам профессор смахивает на Сатану.

При этом не следует упускать из виду, что сам профессор принципиально против облучения импортных яиц с целью получения огромных кур. Профессор заявляет, что луч еще недостаточно опробован, но телефонный звонок от загадочного и сурового авторитетного лица убеждает его в отсутствии выбора, и он позволяет государственной ферме заполучить изготовленные им особые камеры.

До этих пор повесть остается в основном в пределах юмористического жанра: куриная чума служит поводом для всевозможных комических газетных заголовков и комиссий с комическими названиями. Но, как только Рокк отбывает со своими камерами, воцаряется напряженное ожидание — читатель с самого начала предупрежден о том, что имела место некая непоименованная катастрофа. Природа поэтично описываемой фермы дает сигналы какого-то непорядка: лают собаки, безмолвствуют птицы, крестьян одолевают предчувствия. Яйца, из которых пора вылупиться цыплятам, найдены пустыми. В это время Рокк, пережиток гражданской войны в кожаной куртке, нелепо предается игре на флейте в память о своей прошлой профессии.⁷ На следующий день, когда Рокк и его жена идут купаться, ее внезапно пожирает гигантская рептилия, и комедия принимает поистине гротескный оборот.

Объясняется это тем, что, в силу невероятного совпадения

(вроде присутствия двойников в „Дьяволиаде”), долгожданная партия змеиных яиц для профессора прибывает вместо куриных яиц Рокка — в результате вся окрестность наводняется гигантскими анакондами и тому подобными созданиями, вместо гигантских яйценокских кур. Неизвестно, кто подменил яйца — это значит, что непосредственная причина змеиного нашествия случайна, и ни Персиков, ни Рокк к этому не причастны. Несомненно, однако, что основная тема Булгакова — вмешательство государства в дело науки, о чем у Уэллса упоминаний нет.

За первой смертью следуют еще многие и столь же ужасные, но особенно впечатляет читателя смерть Мани. Посреди всей этой клинически описываемой резни комедия не умирает: в попытке отвлечь чудовище, Рокк играет на своей флейте вальс из „Евгения Онегина”, смутно припоминая, что змей можно заклинать. Однако, „глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримую ненавистью к этой опере”.

Способность Булгакова придавать конкретную форму плодам воображения сочетается здесь, как обычно, с точно подмеченными деталями реального мира. Так например, картина Москвы, ожидающей своего последнего часа, в атмосфере паники и бандитизма толпы, хотя и помещена в будущем, основана на впечатлениях Булгакова периода гражданской войны. В будущее перенесены и некоторые реальные лица из настоящего, вроде кавалерийского командира, чье имя стало легендой десять лет назад, т.е. Буденного.

Последствия гражданской истерии трагичны: Персикова убивает человек, проламывающий ему череп. Перед гибелью профессор раскидывает руки, „как распятый”. Институт Персикова уничтожается огнем — обычный финальный аккорд в прозе Булгакова.

В конце концов гигантские рептилии уничтожаются — но не солдатами, мобилизованными для этой цели. В ночь на 19 августа, перед рассветом (излюбленное время суток Булгакова для важных событий), чудовища погибают от невероятных летних заморозков. Подобно Наполеону, они терпят поражение от погоды. Эта глава называется „Морозный бог на машине” — и действительно, этот мороз представляет собой внезапный, почти бесцеремонный ход в сюжете рассказа.

Что же до красного луча, открытия, давшего толчок событиям, то он навсегда утрачен, ибо, по мнению рассказчика, тут необходимо нечто большее, чем просто знание и это нечто было достоянием единственного в мире человека — Персикова.

В „Роковых яйцах” — только два значительных персонажа, и, по-моему, повесть может быть понята только через их посредство. Профессор Персиков и Рокк снабжены довольно обширными биографиями.

Персиков — классический тип ученого, весьма привлекавший Булгакова; подобные персонажи обычно изображаются погруженными в работу и практически лишенными интереса к окружающему их миру. Я не сомневаюсь в том, что для некоторых присущих этому человеку черт прототипом послужил родственник Белозерской, но, мне кажется, что другим очевидным прототипом был Павлов, ученый с мировой славой, который не принял революцию, но продолжал работать, игнорируя изменившиеся обстоятельства, и добился известных успехов.

Персиков — не без изъяна, но все же он не отрицательный персонаж, вопреки мнению ряда критиков.⁸ Да, гений Персикова, его страсть доводить все до логического конца, приводит к открытию красного луча, но исход был предопределен телефонным звонком из Кремля. Можно, правда, строить предположения, что Персикову следовало бы уничтожить луч во избежание злоупотребления, или что он мог бы приложить побольше усилий, чтобы ограничить применение своего открытия, пока он не соберет достаточно фактов. Это следует из слов Персикова, когда он, понимая, что яйца будут облучены, хочет он того или нет, произносит: „Я умываю руки”. Подобно Пилату, Персиков бессилен противостоять происходящему, но, как и Пилат, он чувствует, что происходит что-то дурное.

Персиков, как и доктор из „Собачьего сердца”, в некоторых отношениях сродни Фаусту. Он занимается опасным делом — вмешивается в естественные процессы. Мораль обеих повестей одна и та же: эволюция безопасней революции. Но пока эксперимент Персикова ограничен пределами лаборатории, ни для кого, кроме него самого, опасности нет. Это, по-видимому, — ключ к повести. Булгаков не требует ограничения свободы научного эксперимента — как врач, он понимал выгоды, приносимые свободой научной мысли — он утверждает, однако, что подобные вещи лучше всего оставить на усмотрение ученых. Персиков не так уж изолирован в башне из слоновой кости, как может показаться: он работает на износ, помогая в борьбе с куриной чумой, выгоняет шпиона из своего кабинета и вообще производит впечатление интеллигента старой выучки — тип, вызывавший у Булгакова глубокое восхищение. Сухой,

логический подход Персикова к жизни не мешает ему заплакать, когда он узнает о смерти жены, бросившей его пятнадцать лет назад. В целом его резкая, сварливая внешность обманчива. Эпизод с женой, однако, является ключевым, поскольку в произведениях Булгакова отсутствие женщины указывает на неполноценность жизни мужчины. Грех Персикова принадлежит к разряду неизбежно наказуемых в мире Булгакова: он настолько поглощен своей работой, что потерял всякий интерес к окружающему миру — и окружающим людям. В описаниях ученых Булгаков всегда делает упор на то, что они несут ответственность за свои открытия — они не могут попросту, скажем, дать своему обществу новый вид оружия, а затем вернуться в лаборатории, совершенно не заботясь о том, как будет использовано их открытие. Персиков заблуждается, но он не представляет собой силы зла, в каком бы дьявольском облике ни мерещился он Рокку — который сам является представителем таких сил.

Рокк самым коренным образом антипатичен, и рассказчик повествует о нем в иронических тонах. Мы узнаем, что в числе его подвигов — ирригация Туркестана, и что он начал свою карьеру до революции в качестве музыканта. Эти две характеристики не представляются совместимыми, и профессор высказывает убеждение, что Рокк невежда, — а это бесспорная правда. Биография Рокка дает пищу уму: музыкант, затем редактор газеты в Туркестане, член местной сельскохозяйственной комиссии и, наконец, туркестанский ирригатор, после чего он возвращается в Москву. Его наружность, подобно персиковой, странно старомодна — но по-другому, поскольку он до сих пор носит форму гражданской войны: кожаную куртку и обмотки. Невежество Рокка иного рода, чем у „темных людей”, но результаты его те же самые. Он замечает, что прибывшие на ферму яйца кажутся грязными, но ему не приходит в голову, что они могут оказаться не куриными. В конце концов, он ведь не интеллектуал, а человек действия — но в результате он не обладает даже здравым смыслом, а лишь какой-то свирепой решимостью.

В описании этих двух основных персонажей можно найти основание для аллегорической интерпретации роли интеллигенции (Персиков) в совершении революции по сравнению с оппортунистами (Рокк), пришедшими к власти при полном отсутствии подготовки к занятым ими постам. Однако, охотники до аллегории впадают в безнадежные

противоречия, как только дело касается специфических деталей повествования. Соблазнительно увидеть в красном луче метафору большевизма, но кто же тогда Ленин? Критики предлагали на эту роль как Рокка, так и Персикова, что указывает на отсутствие ясности в расшифровке аллегории. Тот факт, что яйца были подменены случайно, предполагает работу каких-то слепых сил, что в свою очередь увязывается с толстовским отношением Булгакова к историческому процессу. Как бы то ни было, фамилия Рокка дает нам намек на его роль в сюжете. Подобно ряду других отрицательных персонажей, вроде слепого Строганова в пьесе Булгакова о Пушкине „Последние дни”, Рокк совершенно не видит возможных последствий. Рокк — слеп.

Эту повесть следует рассматривать не только в контексте сборника „Дьяволиада”, но и как одну из трех в комплексе повестей. В этих произведениях налицо общность тем и стилистических приемов — на этапе, когда Булгаков отошел от исторического и биографического материала времен гражданской войны и обратился к современной городской жизни, с ее буйством и противоречиями. В этом новом мире Булгаков находит множество следов старого, несмотря на новый жаргон (который он пародирует) и успехи науки, долженствующие изменить мир. Тема злоупотребления наукой звучит еще сильнее в „Собачем сердце”, которое представляет собой, в отличие от „Роковых яиц”, недвусмысленную аллегорию по поводу опасности мгновенной революционной переделки мира.

Вполне закономерно, что „Роковые яйца” включены в сборник „Дьяволиада” — как и в одноименном рассказе, здесь налицо дьявольские козни. Особенно потешали Булгакова слухи об Антихристе — в повести крестьяне приписывают этот титул Рокку. Тайная полиция наряжена в туфли с носками, напоминающими копыта, и повествование изобилует вариантами выражения „черт его знает”.

Повествование представляет собой нарочитую смесь стилей и пародий. Временами события даются с точки зрения легковверного, тупого журналиста, в иных же случаях мы слышим голос всезнающего ироничного рассказчика. Булгаков явно преследует цель вывести читателей из равновесия, и в этом он преуспевает, помещая вслед за выполненным в совершенстве научным описанием смешной полуграмматный кусок, изобилующий типичными для желтой прессы штампами и учеными словами, которые постоянно

употребляются неправильно. Булгакову очень помогает хороший слух в отношении языка эпохи. Описание куриной чумы изобилует комическими нелепостями. Другой источник юмора для читателя — и замешательства для персонажей — это каламбуры и искажения слов, плюс невежество персонажей. Само название представляет собой двойной каламбур: „Роковые яйца” можно прочесть как „Яйца Рокка”, и т.д. Булгаков постоянно обыгрывает эти двусмысленности в своем повествовании. Структура „Роковых яиц” основана на комическом нарушении логики и на неожиданности с примесью обманутого ожидания: названия глав обещают нечто в них отсутствующее, интересные сюжетные линии обрываются в самых интересных местах — при этом все подводит, разумеется, к еще большим неожиданностям.

Какой бы мутной аллегорией ни были „Роковые яйца”, они являют пример успешной работы воображения. Способность Булгакова изображать фантастическое в реальных тонах, живое описание гигантских рептилий, разоряющих страну, напор повествования — все это настолько мощно, что читатель не дает себе труда остановиться и проанализировать. Достаточно упомянуть что, по свидетельству Маяковского, вернувшегося в 1925 г. из поездки в Америку, одна американская газета пересказала сюжет „Роковых яиц”, как если бы это было происшествие.⁹

На фоне других заметных литературных произведений того времени „Роковые яйца” выглядят особенно оригинально и смело. Эта повесть моментально убедила как читателей, так и критиков, что Булгаков — писатель с будущим, и для многих „Роковые яйца” были лучшей сатирической вещью Булгакова. Но это лишь потому, что истинный шедевр этого научно-фантастического жанра, „Собачье сердце”, никогда не был опубликован в Советском Союзе.

„Роковые яйца” вызвали острую реакцию со стороны критики. Некоторые считали эту вещь контрреволюционной, других озадачивали видимые противоречия. Один враждебно настроенный критик, Горбов, пытался, хотя и безуспешно, приписать повести антисоветский смысл:

При всей готовности вычитать из нее какую-нибудь определенную мысль, тем паче, какое-то отрицание нашего строительства как это советует нам сделать один из критиков, признаемся, мы сделать этого не смогли; слишком плохо сведены в повести смысловые концы с концами.¹⁰

Другой критик задавался вопросом, почему эта вещь, явно предназначенная для „белогвардейской прессы“, появилась на страницах советского периодического издания „Недра“:

А как быть с аллегорией „Роковые яйца“, которая по всему своему далеко не академическому содержанию как бы исключительно предназначена для белогвардейской печати? Как она попала на страницы „Недр“?¹

Федор Гладков, автор „Цемент“, обвинил Булгакова в чувстве культурного превосходства:

И когда я слышу таких писателей, которые чванятся своей „культурностью“, как Булгаков, Клычков, или бывший большевик Эренбург, мне горько, мне невыносимо от их, извините за выражение, блевотины, которую они изрыгают на наше „бытие“, на людей, которые, жертвуя собой, строят новую жизнь на основах высокой культуры и справедливости.^{1 2}

Не один Горький удостоил повесть похвалы. Вот что писал критик „Нового мира“:

Повесть Булгакова — это не просто „легкое чтение“. Лица, типы, картины — все это невольно запоминается, все это злободневно и метко. Маленькой фразы достаточно, чтобы осветить ярким лучом смеха как будто неприметный уголок нашей сегодняшней жизни.^{1 3}

Несколькими годами позднее, в 1927 г., когда Булгаков подвергся нападкам за длинный список литературных грехов, в том числе и за „Роковые яйца“, Воронский, редактор „Красной нови“, дал интересный анализ этой повести. Воронский характеризует это произведение как необыкновенно талантливое и едкое и отмечает, что его основная мысль — печальная судьба хорошей идеи в голове благонамеренного, но бестолкового человека. Он соглашается, что на это у писателя есть право: почему бы и не обсудить проблему? Но он утверждает, что недостатком булгаковской вещи является то, что автор не знает толком, зачем он написал этот „памфлет“ и что, по его мнению, надлежит сделать для решения проблемы.

И так как в памфлете Булгакова нет целевой, волевой установки, произведение в лучшем случае вызывает недоумение. Нападает ли автор вообще на „коммунистический эксперимент“, или имеет он в виду более узкий круг обобщений, занимает ли его больше некультурность и невежество решительного, но ограниченного поборника новой

культуры — обо всем этом читатель ничего узнать не может. Писатель сам подает повод для всяческих кривотолков и в конце неизвестно, куда он ведет нас: может быть, совсем не туда, куда хочет идти наш новый читатель, которому дорог Октябрь.¹⁴

С моей точки зрения, все эти критики, за исключением Гладкова, правы. Булгаков, либо опасаясь цензуры, либо не сумев прийти к окончательному решению, избегает напрашивающихся выводов. Шутка оказывается лишенной соли — тем не менее, она очень смешна.

Каковы бы ни были сомнения критиков, у читателей сомнений не было. По словам С. Н. Сергеева-Ценского, одного из регулярных участников альманаха, повесть Булгакова была единственной вещью в „Недрах“, не навевавшей скуки.¹⁵

Наиболее влиятельным из поклонников Булгакова был Горький. В письмах того времени Горький рекомендует своим корреспондентам раздобыть экземпляр „Недр“ и прочитать повесть Булгакова: „Прочитай там /в „Недрах“/ рассказ Булгакова „Роковые яйца“. Это тебя очень рассмешит. Остроумная вещь!“ Единственной претензией Горького было то, что Булгаков не использовал всех возможностей произведения — например, он не включил туда описания гигантских рептилий, надвигающихся на Москву, что, по мнению Горького, дало бы „чудовищную интересную картину“.¹⁶

В 1926 г., рецензируя нашу новую пьесу Булгакова „Дни Турбиных“, один американский корреспондент упоминает о „первой книге рассказов“ Булгакова, „которая вызвала здесь сенсацию восемнадцать месяцев назад, потому что в ней была смелая шутка по поводу некоторых слабых мест в большевистских методах. Она называлась „Роковые яйца““.¹⁷ Можно заключить, что это отражает общее мнение, с которым имел дело иностранный корреспондент, и отсюда видно, почему в дальнейшем „Роковые яйца“ рассматривались как серьезный литературный проступок.

IV. „Собачье сердце“

Через три месяца после окончания „Роковых яиц“ Булгаков начал работу над повестью „Собачье сердце“, которую он посвятил Любви Евгеньевне Белозерской. Повесть была написана очень быстро. Работа началась в январе, а 14 февраля он уже был приглашен к Ангарскому для ее чтения. Рукопись, первоначальным названием которой

было „Собачье счастье”, помечена датой окончания — март 1925 г.¹⁸

По-видимому, Булгаков не был полностью удовлетворен той формой, которую приняли его идеи в „Роковых яйцах”, и поэтому он вновь обратился к теме опасного эксперимента, на сей раз связанного с превращением иного рода.

„Собачье сердце” во многом повторяет сюжетные ходы более ранней повести, но композиция здесь тщательно обдумана, и Булгаков не оставляет незавершенных линий. „Собачье сердце” — несомненная аллегория, но она вовсе не легковесна — повесть очень увлекательна и, возможно, является лучшим сатирическим литературным произведением советской эпохи. Тем более иронично, что она до сих пор не опубликована в Советском Союзе и, видимо, даже запрещена к упоминанию в печати.¹⁹

Булгаков, бывший врач, отразил в этой вещи свое знание хирургии и свое восхищение ею. Решив, что центральным моментом новой повести будет операция, он обратился ко многим из своих друзей-медиков за деталями, которые сделали бы невозможную операцию правдоподобной. Его старый киевский друг Николай Гладыревский работал в клинике профессора Мартынова, где производились так называемые омолаживающие операции вроде тех, на которых специализируется врач в повести.

Подобно профессору Персикову, у доктора Преображенского был свой прототип в реальной жизни — дядя Булгакова.²⁰ Николай Михайлович Покровский жил на углу Пречистой и Обухова переулка через несколько зданий от Булгаковых, которые также жили на Обуховом — по тому же адресу проживал и доктор-герой Булгакова. Дядя Николай был гинекологом, и некоторые из его пациентов нашли отражение в повести Булгакова. Доктор Покровский отличался как вздорным и неуживчивым характером, так и исключительной добротой.

Действие „Собачьего сердца”, как и действие предыдущей повести, разыгрывается на Пречистенке. Этот район Москвы был выбран намеренно, так как там концентрировались остатки трудовой интеллигенции, профессионалов, занимавшихся научными исследованиями. Этот несколько кастовый профессорский мирок изобиловал интересными типами, и одно время Булгаков подумывал даже написать комедию под названием „Пречистенка”.²¹

Однако события, разыгрывающиеся на выдуманной

Пречистенке Булгакова, весьма далеки от науки, и достаточно кратко изложения сюжета, чтобы понять, почему эта повесть принесла Булгакову столько неприятностей от властей и почему она была не только запрещена, но и конфискована.

Доктор Преображенский — специалист по омоложению путем операций на половых органах, и автор с презрением описывает галерею нэповских типов, проходящих через его приемную. Этот второй план рассказа в значительной мере занимает Чудакову, и отсюда видно, в какой степени повесть представляет собой реакцию на ученые публикации 20-х годов, трактующие вопрос „омоложения”.

Но по-настоящему профессора увлекает другая область исследований. Ему представляется счастливая возможность, когда он, к своему удовлетворению, находит подходящее животное и еще теплое человеческое тело. Он пересаживает человеческий гипофиз и яички псу-дворняге Шарикю. В результате этой операции, которая, подобно красному лучу в „Роковых яйцах”, представляет собой радикальное вмешательство в природные процессы, на свет появляется отвратительный Полиграф Полиграфыч (явный намек на официальное издательство „Мосполиграф”), головорез, в котором вульгарные замашки и аппетиты покойного преступника сочетаются с душевной организацией собаки. Полиграф получает идеальную работу — очищать город от кошек. Под влиянием назойливого управдома он принимается тупо долбить Энгельса и кончает тем, что пишет политический донос на своего создателя хирурга. В момент, когда над жизнью профессора нависает угроза, Шариков исчезает — при обстоятельствах, заставляющих предполагать, что он убит профессором и его ассистентом Борменталем. Однако, когда приходит милиция для производства следствия, вместо тела находят лишь дворнягу Шарика.

Впервые Булгаков прочел „Собачье сердце” редакторам „Недр” в феврале 1925 г. Они тотчас признали это произведение замечательным и начали долгую, и, в конечном счете, безуспешную борьбу за его опубликование. 21 мая они в первый раз вернули рукопись Булгакову, предложив ему отослать „выправленный” вариант (по всей видимости, цензору) вместе с письмом: „авторское, слезное, с объяснением всех мытарств и пр.” Булгаков посчитал такое предложение оскорбительным, подчеркнул слово „слезное” — и на этом дело оставил. Летом 1925 г. Ангарский, не желая

оставлять крупное достижение русской прозы неопубликованным, возобновил свои попытки. Годом позже повесть привлекла внимание чекистов, явившихся на квартиру к Булгакову и конфисковавших рукописи вместе с дневниками писателя. Повесть была опубликована на русском языке лишь в 1968 г., да и то за границей. Но Ангарский сохранил свой экземпляр рукописи, и после его смерти он попал в его архив.²²

Подобная повесть есть у Г. Уэллса — она называется „Остров доктора Моро”. В этой повести, опубликованной перед началом нынешнего столетия, описывается безумный ученый, превращающий собак и других животных в человеческие существа, такие же несовершенные, как и булгаковский Полиграф. В конце концов эти создания вновь превращаются в исходных животных. Сходство обнаруживается как на уровне сюжетных ходов, так и в психологической трактовке одушевленных творений. Но у Булгакова, хотя и гораздо лучшего писателя в смысле стиля, отсутствовал настоящий интерес к будущему, присущий Уэллсу, что и делает Уэллса истинным мастером научной фантастики. Кроме того, как показала Райдел, „Собачье сердце” представляет собой не столько иммитацию „Острова доктора Моро”, сколько сюжетную перестановку, или даже отправную точку. Из других вещей при чтении „Собачьего сердца” приходит на ум „Франкенштейн” — роман, в котором врач создает существо, с которым оказывается очень трудно справиться.²³

Как ни легко увлечься политическим смыслом этого произведения, однако было бы несправедливо по отношению к автору игнорировать литературные достижения повести. Здесь наконец, весь блеск „Дьяволиады” и „Роковых яиц” собран воедино и взят под контроль в исключительно увлекательном сюжете, который не является простым предлогом блеснуть арсеналом литературных приемов. Избегая своей обычной проблемы в гротеске — отсутствие симпатии к героям-жертвам, — Булгаков представляет нам двух интригующих персонажей: собаку Шарика и „хирурга-волшебника” Преображенского.

Литература, написанная с точки зрения животного, не представляет собой ничего нового, и в русской литературе есть много примеров этого стиля.²⁴ Булгаков демонстрирует необыкновенную способность дать живой образ дворняги Шарика — этот пес, с его животной логикой и юмористическими замечаниями, являет собой трогательную фигуру,

сравнимую с лучшими образцами животных — литературных героев девятнадцатого века. Наблюдать события глазами животного — необычная для Булгакова перспектива; лишь в „Мастере и Маргарите” он создает, в лице Бегемота, еще одного подобного героя, занимающего значительное место в произведении. Язык Шарика — это язык человека низкого сословия, рабочего, в целом приятной, хотя и ограниченной, личности, которая сознает свою ограниченность и думает только о пище и крыше над головой. Но временами он демонстрирует знания, которых у него быть не может — так например, совершенно не вписывается в текст упоминание Семирамиды в жалобном монологе, хотя, как ни странно, поверхностного читателя это не беспокоит.

Опять, подобно „Роковым яйцам”, повесть строится на контрасте двух персонажей, но в данном случае пес Шарик никому зла не делает — это не Рокк, чье разгильдяйство приводит к катастрофе. Профессор, этот таинственный, богоподобный волшебник, возвращающий людям молодость — вот кто виновник несчастья, вызванного операцией на дворняге.

Многие главы повести написаны от лица собаки, с тонко подмеченными собачьими характеристиками. Шарик-рассказчик замечает, например, запахи всех людей и предметов. Повествование пестрит его замечаниями по поводу происходящего, часто в форме внутреннего монолога, или монолога устного. После нескольких страниц читатель проникается симпатией к псу, и верит, когда рассказчик сообщает, что эта собака владеет секретом завоевания людских сердец.

Еще до того, как доставляют труп преступника Клима, система образов, ассоциируемых с профессором, поначалу пронизанная благородством и волшебством, постепенно меняется в сторону демонизма, и возникает мотив предчувствия, принимающий тонкие формы — например, упоминается обеденный стол доктора, „тяжелый, как гробница”. Именно здесь читатель начинает понимать то, чего не понимает Шарик: его благодетель откармливает его для эксперимента. В то же время Преображенский описывается и в выгодном свете. Так, когда Шарика неоднократно предлагают наказать, доктор отказывается это сделать. Когда, во второй главе, его спрашивают, как ему удалось заманить в квартиру такое нервное замученное существо, Преображенский отвечает:

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему.

Можно, попутно с другими вещами, заключить, что хирург хорошо относится к Шарикю потому, что это приносит свои плоды, а не просто потому, что он милый пес. На этом этапе мы наблюдаем события в основном с точки зрения Шарика, в силу чего вполне возможно упустить из виду иные намеки на научный подход к жизни, практикуемый Преображенским.

Построив часть повествования на слуховых и зрительных впечатлениях Шарика, Булгаков посреди четвертой главы, где речь идет об операции, переключается на повествование от третьего лица.

При этом рассказчик вовсе не нейтрален. Профессор и его ассистент Борменталь прямо утопают в ужасных и мрачных образах: нет никакого сомнения, что они совершают не животворную операцию, а роковой акт насилия над природой. Кровь бьет фонтаном, Филипп Филиппович Преображенский полосует Шарика скальпелем, врачи раздирают его тело, струя крови едва не ударяет профессора в глаз, на лице профессора — выражение „вдохновенного разбойника”. Операция являет собой осязаемое зло, вмешательство в законы природы.^{2 5}

Но профессор этого не чувствует: он начинает операцию так: „Ну, господа, благослови. Нож.” Ранее, перед тем, как ему дают наркоз, пес видит профессора в одежде хирурга, и он представляется ему „жрецом”. Отчасти это подсознательная реакция на тему профессора, строчки из оперы „Аида” („К берегам священным Нила”), где, действительно, присутствует верховный жрец языческой религии. Но когда профессор восклицает „Господи, благослови”, он просит благословения у христианского Бога, и мы вынуждены заключить, что его последующее превращение, в ходе операции, в верховного жреца, с которым он перед этим сравнивался, есть разновидность кощунства. „Жрец снял лиловыми руками окровавленный куколь. . .” — отмечает рассказчик по завершении операции, когда пес еле жив и неизвестно, выживет ли он.

Интересно, что говорит об этом профессор: „Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно издохнет”.

В следующей главе повествование ведется с другой точки зрения и в совершенно иной форме — в виде дневника ассистента хирурга, доктора Борменталья.

Форма лабораторного журнала использовалась многими авторами научной фантастики (примеры: „Доктор Джекилл и мистер Хайд”, „Франкенштейн”), но до Булгакова редко кто — если вообще кто-либо — употреблял этот прием для получения комического эффекта. В дневнике Борменталья описывается наиболее невероятное из всех „научных” событий в повести, и его сухой тон придает этим невероятным вещам приемлемую форму. Кроме того, дневник позволяет ускорить бег времени и ввести некоторые очень смешные накладки. Борменталь начинает с бесстрастного изложения медицинских фактов, но по мере того, как собака Шарик превращается в человека Шарикова, записи становятся все менее научными и все более эмоциональными, отражая причудливый поворот событий: „Я теряюсь. . . Я с ума сойду. . . По городу расплылся слух. . .” Записи становятся еще смешнее по мере того, как Шариков учится говорить. Мало-помалу дневник превращается почти в традиционное повествование, где события описываются в подробностях и беседы передаются полностью.

К вящему замешательству врачей Булгаков тщательно перемешивает прошлое собаки с прошлым преступника. Так, Борменталь не понимает загадочного выражения „Главрыба”, оброненного новоявленным человеческим существом, потому что он не в курсе открывающего повесть монолога. Таких связующих звеньев немало, но, тем не менее, ясно дается понять, что это существо весьма отличается от собаки.

После этой главы повествование вновь обретает нормальный ход, но события уже не описываются с точки зрения Шарика, поскольку он теперь чудовище Шариков, который может быть понят лишь извне. Мы видим его поведение в профессорском доме, написание им доноса на профессора и, наконец, его работу заведующим подотделом очистки города от бродячих животных (т.е., котов). Шариков — один из самых смешных комических персонажей Булгакова, его животное-человеческая природа представляет собой богатый источник юмора. В момент, когда мы готовы проникнуться полным отвращением к Шарикову, он выкидывает какой-нибудь смешной номер, выявляющий все еще присутствующую в нем собачью природу. Его приключения с кошкой и истории, сочиняемые им для его невесты-машинистки, характеризуют его как смешного негодяя, не вполне отдающего

себе отчет в своих поступках. Однако, его склонность к чисткам и доносам делает его менее комичным и более устрашающим.

Личность невесты — хороший пример того, какое внимание Булгаков уделяет деталям. Легко догадаться, что это та самая бедная машинистка, которую Шарик жалеет на первых страницах повести. Она жалуется, что питается в плохой столовой (как и девушка, упоминаемая Шариком), и в конце спрашивает: „неужели в этой самой подворотне?“, т.е., где она проводила время в ожидании и видела Шарика, и где профессор его нашел. Клим-Шариков выбирает эту машинистку себе в подруги, потому что пес в нем ее помнит.

Шарик особенно смешон в сопоставлении с миром профессора — строгой интеллектуальной атмосферой, в которой живут люди безупречных правил. Шариков — это элемент анархии, уличный подонок, нахальный по отношению к вышестоящим. Комизм по большей части пристекает из того, что Борменталю и Преображенскому очень редко приходилось иметь дело с наглостью низких элементов общества. Столкновение культурных уровней отражено также в стиле поведения персонажей. Старомодная манера выражения Преображенского контрастирует с безграмотной претенциозностью и грубым языком Шарикова.

В конце концов Шариков полностью раскрывает свою злобную сущность, и профессору становится ясно, что вскоре, в руках домоуправа Швондера, Шариков превратится в нечто весьма опасное. Сердце Шарикова, указывает профессор, не собачье — тогда оно по крайней мере было бы добрым, — это сердце человека, преступника Клим, самого злобного существа на свете. Отсюда понятно, почему первоначальное название, „Собачье счастье“, куда больше подходит по смыслу — ведь у Шарикова нет собачьего сердца. В личине собаки Шарик был вполне привлекателен, и лишь когда ему пересадили органы преступника, он сделался отвратителен. Шариков, вульгарная пародия на пролетария, стократ хуже пса Шарика. Конечно, Шариков во многом остается животным — он не понимает ничего, кроме самых жизненно необходимых вещей. Но к его животной натуре прибавлена специфически человеческая злобность, которая заставляет его доносить на окружающих.

Узловой момент сюжета — это операция; но есть там и еще одна операция, в конце, когда у читателя создается впечатление, что профессор и Борменталь убили Шарикова (которого мы в последний раз видим наставляющим револь-

вер на своих создателей, и которого в результате душист Борменталь). Читатель удивлен не менее следователя, когда тот находит убитого Шарикова, вновь принявшего личину пса Шарика.

В конце концов Преображенский, внезапно постаревший и мучимый сознанием содеянного, вновь приходит в себя, но последний абзац несколько настораживает читателя. Шарик, вновь взявший на себя роль рассказчика, с обожанием наблюдает за хозяином. И чем же занимается хозяин? Он снова запускает руки в банки, достает оттуда мозги, „упорный человек, настойчивый, все чего-то добивается...”

Подобно Фаусту, профессор не может прекратить свои эксперименты, несмотря на то, что последний обернулся такой катастрофой. Возможно, конечно, что Преображенский просто собирает необходимое для омолаживания своих пациентов, но такое окончание оставляет беспокойное впечатление.

По мнению одного из критиков,²⁶ в Преображенском можно видеть Бога: он создает жизнь, причем примерно в период Рождества, и это не просто совпадение, так как момент, критический для выживания Шарикова, приходится на 25 декабря (к 26-му его здоровье уже заметно улучшается). Эту интерпретацию поддерживает и фамилия Преображенского. На долю Персикова и Преображенского выпадает нечто большее, чем то, чего они ожидали от творений, которые в обоих случаях оказались опасными. Но эти религиозные штрихи можно, мне думается, рассматривать и в другом контексте — пародийном. Человек не может быть настоящим богом — лишь пародией на божество.

Преступление Преображенского в том, что он вмешивается в естественное развитие, и эта идея выражена несколькими способами, равно как и идея о применении силы к живым существам. Преображенский берет на себя вину за свои действия, тогда как Персиков этого не делает: „Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей”.

Факт, что эта занимательная повесть представляет собой политическую аллегорю, не подлежит сомнению — и не моему сомнению, а сомнению советских цензоров, запретивших не только ее публикацию, но даже и упоминание о ней. Приведенная выше цитата — одна из многих, мета-

форически отождествляющих противоестественную операцию с большевистской революцией, когда новые вожди России пытались установить диктатуру пролетариата — того самого пролетариата, которого не любит, по его собственному признанию, Преображенский. Преображенский говорит, что он не контрреволюционер, но он отказывается верить в то, что рабочий лучше доктора разберется в медицине в силу своего пролетарского происхождения. Наиболее открыто эта идея выражена в реакции выведенного из себя Преображенского на наглость Шарикова:

— Вы стоите на самой низшей ступени развития, — перекричал Филипп Филипович, — вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить. . .

Профессор весьма консервативен также и в других отношениях. Ему не нравятся неэффективность и беспорядок, которыми сопровождалась смена правительства. Но он наиболее очевидно выступает от лица автора, когда говорит о „разрухе” — любимая тема печати двадцатых годов. Преображенский отмечает, что разруха не есть нечто, происходящее само по себе — ее вызывают люди, разруха зарождается в их головах, когда они решают действовать или воздержаться от действия. Это — замаскированная критика отношения к катастрофе, типичного для общества, в котором живет профессор. Вина за любую катастрофу возлагается на внешние силы, на шпионов, диверсантов и т.д. Тем самым повесть увязывается со сборником „Дьяволиада”, где все несчастья объявляются делом рук черта.

Другие персонажи иногда отмечают, что профессор — лицо привилегированное, и что есть люди гораздо беднее, которым не по карману профессорский стол и большая профессорская квартира. Эти моменты представляют интерес, т.к. они указывают на существование жизненной несправедливости, но рассказчик не проявляет желания углубляться в эту тему. Кроме того, эти высказывания всегда принадлежат отрицательным персонажам.

Профессор явно верит, что общественное положение соразмерно заслугам человека, и он не чувствует ничего кроме презрения к пациентам, пришедшим получить омолаживающие инъекции — он и занимается-то этим лишь затем,

чтобы раздобыть денег для своих экспериментов.²⁷

Когда Преображенский предлагает, чтобы общество прекратило заниматься решением политических проблем в других странах и вычистило бы лучше свои собственные улицы, он, по его словам, руководствуется лишь здравым смыслом и наблюдательностью, а вовсе не контрреволюционным инстинктом. Но как ни старается Булгаков избежать такого заключения, аллегория, с которой он имеет дело, весьма щекотлива. В образе блестящего хирурга, предпринимающего рискованную операцию, легко увидеть Ленина, представителя интеллигенции с присущим ему ученым видом. И трудно усомниться в том, что Шарик, этот обаятельный и ограниченный пес, представляет собой определенный тип недалекого русского рабочего или крестьянина, которого большевистская революция превратила в гнусного Шарикова. Таким, каков он есть, Шариков делает наследственность — никакая среда, будь она коммунистическая или любая другая, не в силах его изменить.

Дарвинистские замечания профессора о постепенной эволюции — это либерально-демократическая линия рассуждения о России, диктуемая здравым смыслом. Никто не отрицал необходимости реформ и перемен. Но революционное насилие, в противоположность реформе, только ухудшило положение многих людей — за исключением Шариковых и Швондеров.

Швондер, этот неутомимый враг профессора — один из длинной галереи булгаковских гнусных управдомов. Здание Калабухова (как и дом Эльпита) быстро клонится к упадку, и одна из причин этого — назойливый и злобный Швондер. Швондер делает все возможное, чтобы натравить Шарикова на профессора:

Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.

Это — попросту описание политики чисток, явно приложимое к ЧК-ОГПУ 20-х годов, которые не гнушались пользоваться услугами преступных элементов.

Каким же образом, ввиду всего этого, Булгаков и Ангарский могли вообразить, что им удастся протащить эту вещь сквозь цензуру? Возможно, что успех, одержанный ими

в отношении „Роковых яиц”, убедил их в исключительной глупости цензоров; возможно, они предполагали вырезать значительные куски; возможно также, что Булгаков надеялся показать, что Преображенский — негодяй. Однако ни одно из этих предположений не кажется мне вероятным, за исключением возможной тупости некоторых цензоров. Булгаков, может быть, полагал, что он лишь честно изображает отношение старого интеллигента к советскому режиму, но замечания, которые пропускались мимо ушей, когда их изрекала реальная знаменитость вроде Павлова, были неприемлемы в устах Преображенского — блестящего, честного и благородного, хотя и впавшего в заблуждение. Интересно узнать, какие изменения предполагались редакторами „Недр” с целью сделать возможной публикацию повести, и насколько она была понята руководством Московского Художественного театра, планировавшего, как пишет Чудакова, в 1926 году заказать Булгакову ее инсценировку.^{2 8}

Трудно, разумеется, утверждать что-либо наверняка относительно намерений писателя, но судя по тому, что мне известно об авторе и его произведениях, Булгаков в „Собачем сердце” высказался начистоту — в первый и последний раз.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Булгаков всегда указывал жанр своих произведений. *Мастер и Маргарита*, например, имеет подзаголовок „фантастический роман”.

2. М. Чудакова, „Архив М. А. Булгакова”, *Записки отдела рукописей*, вып. 37 (М., 1976), стр. 39-47.

А. А. Кудрямов в его книге *В краю непуганых идиотов* (Париж, 1983), интересно пишет об Ильфе и Петрове, но менее удачно об их отношениях с Булгаковым. Там, где критик видит сходства, я вижу влияние. Кудрямов много упрощает – отношение Булгакова к Достоевскому, например, не всегда отрицательно, и его отношение к авторам романа *Двенадцать стульев* не всегда положительно.

3. Евгений Замятин, „О сегодняшнем и о современном”, в кн. *Лица* (NY, 1955), стр. 217-18. Замятин оказал большое влияние на группу „Серапионовы братья” (куда входили молодой Зощенко и Федин) и был крупным новатором стиля того времени. Будучи поначалу убежденным сторонником большевиков, Замятин часто вступал в противоречия с царской цензурой из-за своих описаний армейского быта и откровенности в отношении сексуальных материй. Он был по природе ниспровергателем и скептиком, и в 1919-1921 годах написал свой знаменитый роман-антиутопию *Мы*, из-за которого впал в немилость у советских властей, окрестивших его мелким буржуа и правым элементом. В 1922 г. он был арестован вместе с 160 другими представителями интеллигенции, большинство из которых было выслано за границу. Благодаря непрощенному заступничеству друзей, Замятину разрешили остаться – в то время как он, по многим свидетельствам, скорее бы предпочел уехать.

В то время, когда была написана эта рецензия, Замятин был значительной фигурой в ленинградских литературных кругах. Он готовил к печати двенадцатитомное собрание сочинений Г. Уэллса. Чудакова цитирует несколько строк из этой рецензии, не называя автора по имени, поскольку Замятина запрещено упоминать в советских публикациях. См. *Записки отдела рукописей*, стр. 41.

4. Christine Rydel, „Bulgakov and H. G. Wells,” *Russian Literature Triquarterly*, No. 15 (1978), pp. 293-311.

5. Разные источники приводят разные названия этого рассказа от того, что журнал *Красная панорама* опубликовал отрывки из повести под разными названиями: „Красный луч” и „Луч жизни”. *Красная панорама*, №№ 19-22, 24 (1925). См. примечания настоящему тому.

Чудакова, на мой взгляд, ошибается, утверждая, что первоначально название сборника *Дьяволиада* было *Чаша жизни* – в доказательство она приводит тот факт, что у Булгакова есть рассказ под таким названием. Проблема в том, что „Чаша жизни” – рассказ посредственный, и Булгаков вряд ли счел бы нужным включать его в сборник, не говоря уже о том, чтобы выносить его в заглавие сборника, тогда как и „Россия”, и „Мосполиграф” в рекламном объявлении и в письме называют этот сборник *Час жизни*. Трудно поверить, чтобы в двух разных местах сделали такую ошибку – с двумя неправильными буквами. Это значит, что пункт 39 моей опубликованной библиографии Булгакова неправилен – такого сборника не существует, это лишь другое название *Дьяволиады*.

В качестве дополнительного доказательства я могу упомянуть имеющуюся в моем распоряжении фотокопию рукописи Булгакова, представленной в цензуру и в издательство. В нее вошел „Ханский огонь”, но никакого рассказа под названием „Чаша жизни” в ней нет. Подробнее об этой рукописи см. ниже, прим. 21.

Чудакова мимоходом упоминает, что для того, чтобы только посмотреть на „Дьяволяду“, ей пришлось зайти к приятелю Булгакова. Это связано с тем, что, когда Булгаков был вычеркнут из истории литературы, все экземпляры этой книги были изъяты из библиотек, и даже упоминания о нем исчезли из работ об альманахах 20-х годов. Что касается альманахов „Недра“, то не только произведения Булгакова были вырваны из них, но и само его имя в содержании было кропотливо стерто.

6. Л. Е. Белозерская, *О, мед воспоминаний*, стр. 22.

7. По-видимому, очень показательно, что в *Голом годе* Пильняка руководитель народной милиции Лайтис учится играть на кларнете. К прозе Пильняка Булгаков относился с отвращением.

8. См. S. McLaughlin, “Structure and Meaning in Bulgakov’s *The Fatal Eggs*,” *Russian Literature Triquarterly*, No. 15, pp. 263-79. В этой статье очень хорошо трактуются языковые уровни Булгакова и некоторые второстепенные мотивы, но, на мой взгляд, характер Персикова в ней представлен неправильно. В попытке представить его как воплощение зла, Мак-Лафлин изображает в ложном свете сцену гибели его жены – для него это было большим ударом – и игнорирует его попытки оказать помощь окружающим во время чумы.

9. В. Маяковский. *Полное собрание сочинений* (М., 1955-61), т. 13, стр. 230.

10. Д. Горбов. „Итоги литературного года“, *Новый мир*, 1925, № 12, стр. 129-48.

11. М. Лиров. „Недра. Книга 6-ая“, *Печать и революция*, 1925, №№ 5-6, стр. 517-18.

12. Билль-Белоцерковский. *Литературное наследство*, т. 70. – Горький и советские писатели. Неизданная переписка (М. 1963), стр. 88.

13. Л-в. „Недра, книга шестая, 1925“, *Новый мир*, 1925, № 6, стр. 152.

14. А. Воронский. „Писатель, книга, читатель“, *Красная новь*, 1927, № 1, стр. 226-39.

15. М. Чудакова. „Архив М. А. Булгакова“, стр. 44, № 49.

16. А. М. Альтшулер. „А. М. Горький и проблема стилевых поисков после-революционной прозы и драматургии (А. М. Горький о М. А. Булгакове)“, *М. Горький и русская литература*. Горький, Горьковский университет, 1970, стр. 158-66. То же см. *Литературное наследство*, т. 70 – Горький и советские писатели, (М., 1963), стр. 389.

В. Левшин. „Садовая 302-бис“, *Театр*, № 11, 1971, стр. 110-20. Левшин (стр. 114) утверждает, что слышал от Булгакова устную версию этой повести, и впрямь заканчивающуюся нападением на Москву. Однако, в пользу этой версии нет никаких других данных.

17. Walter Duranty, “Red Intelligentsia Is Stirred by Play,” *New York Times* (Nov. 7, 1926).

18. Датировка машинописного экземпляра из архива Библиотеки им. Ленина – январь-март 1925.

Архив издателя Ангарского в Ленинской библиотеке содержит кое-что из редакционного архива „Недр“, в том числе – „Собачье счастье. Чудовищная история“ (1925, машинопись с авторской правкой и пометой Н. С. Ангарского, 9911), *Записки отдела рукописей*, кн. 1966, стр. 31. К рукописи приложена редакторская помета: „Эта вещь не представляет большой ценности, ни по замыслу, ни по художественному исполнению“. Это было написано, несомненно, для чужого глаза, но, как мы покажем, не соответствовало действительному мнению редакции „Недр“.

Источников информации относительно этого произведения немного; в их числе – М. Чудакова, „Архив М. А. Булгакова“, стр. 44-45 и Л. Е. Белозерская, *О, мед воспоминаний*, стр. 25-29.

19. Поскольку нынешняя советская цензура запрещает упоминание запрещенных ранее вещей, Чудакова вынуждена называть „Собачье сердце” „повестью” и затемнять смысл сюжета повести.

20. Л. Е. Белозерская, стр. 25.

21. В. Лакшин. „Эскизы к трем портретам”, *Дружба народов*, № 9, 1978, стр. 200-20. См. стр. 218.

22. См. прим. 18. Из опубликованных текстов наиболее достоверен вариант, напечатанный издательством ИМКА (Париж, 1969), т.к. он был вычитан Е. С. Булгаковой. Это издание предпочтительно и по другой причине – включается начало главы 5, которое отсутствует в других изданиях. Единственный недостаток этого издания в том, что издатели подвергли язык Булгакова цензуре, проставив троеточие после начальной буквы слова „сволочи”. (В настоящем томе мы исправили мелкие ошибки в пунктуации и т.п.)

Другие русские публикации – в *Гранях* (№ 69, 1968) и в *Студенте* (Лондон, №9/10, 1968).

23. См. Rydel, стр. 306-10. Другие две статьи, использованные мной – Helena Goscilo, „Point of View in Bulgakov's *Heart of a Dog*,” *Russian Literature Triquarterly*, No. 15 (1978), pp. 281-91 и Diana L. Burgin, „Bulgakov's Early Tragedy of the Scientist-Creator: An Interpretation of *The Heart of a Dog*,” *Slavic and East European Journal*, Vol. 22, No. 4 (1978), pp. 494-508. См. также Н. Струве, „Собачье сердце”, *Русская мысль* (22 мая 1966), стр. 6.

24. В начале двадцатых годов были опубликованы рассказы Замятина и Федина, в которых собаки использовались для суждений о положении человеческого общества после революции. Замятинские „Глаза” (в сборнике *Собачья доля*, Берлин, 1922) возможно, представляют собой аллегорию масс. См. Alex Shane, *The Life and Works of Evgenij Zamjatin* (Berkeley, 1968), стр. 149-50. В „Песнях душ” (1922) Федина рассказчик постепенно принимает точку зрения собаки и обнажает этот прием, комментируя его. (К. Федин. „Песни души”, *Пустырь*. М., 1923). Деятнадцатый век дает много примеров животных-рассказчиков или повествования с их точки зрения.

Возможно, что Булгаков изменил название, когда кто-то сказал ему, что оно уже было использовано Куприным в рассказе о собаках, представляющем собой прозрачную аллегорию. См. А. И. Куприн, „Собачье счастье”, *Собрание сочинений* (М., 1964), т. 1, стр. 429-38.

25. Булгаков не намеревался серьезно трактовать научную сторону повествования. В данном случае он приписывает гипофизи функцию, которая, как ему было известно, у него отсутствует.

26. См. Бургин. Бургин, однако, считает, что „преступление” профессора заключается в „убийстве” Шарика. Но настоящее преступление в книге – это лживый донос Шарикова. Преступник Клим давно мертв, и в конце результаты операции попросту устраниаются – в итоге никого не убивают. Верно, однако, что, по мнению профессора, Шарик должен умереть в результате первой операции. Профессор особо предупреждает Борменталья, чтобы тот никогда не шел на преступление.

27. Повесть Булгакова весьма злободневна – в двадцатые годы в Советском Союзе проводились всевозможные генетические эксперименты. Возможно, что имя героя, Филипп Филиппович, было намеком на хорошо известного советского ученого того времени. Уолтер Салливан упоминает о некоем Юрии Филипченко, „который считал, что генетику следует использовать для улучшения наследственных качеств человеческого рода. Он основал Советское евгеническое бюро и предпринял генеалогическое исследование советской интеллигенции в надежде найти богатый генетический материал для своего проекта. Идея контроля над человеческим воспроизводством, подобно тому, как контролируется

выведение пород скота, долго не продержалась. . .” См. “The Death and Rebirth of a Science,” *The Soviet Union: The First Fifty Years*, ed. H. Salisbury (New York, 1968), p. 330.

Чудакова упоминает о том, что в 1924 г. вышел сборник статей под названием „Омоложение”, и что бульварная пресса с энтузиазмом ухватилась за этот предмет, заверяя, что такая операция элементарна и доступна даже в провинциальных городах (!). См. Чудакова, *Записки*, стр. 44.

28. Первоначальный договор был подписан 2 марта 1926 года и расторгнут 19 апреля 1927 года. Повесть, судя по всему, была зачитана на одном из собраний никитинского салона в 1930 г. См. Чудакова, стр. 45.

инициативу, ховла Stevenson, представился своим заушительным
 работам по упрочению туркестанского края. В 1924 году ^{Росс} ~~Борис~~ ~~Сорокин~~
 уехал в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Бесная комис
 сия ~~Борис~~ ^{Сорокин} организации, билет которой с честью носил в кармане
 поприх кичливо-старомодный человек, оценила его и назначила ему дол
 жность спокойную и почетную. Увы, увы! На горе республике и плукии мог
 зника ~~Александр Семенович~~ ^{Александр Семенович} не потуше, в Москве Рокеттолкнулся с изобре
 тель Петербургом и в номере на Тверской "красный Париж" родилась у ~~Александр Семенович~~
 контр-братства идея гая. при помощи луча Персони она возродить втече
 ние месяца к 1 в республике. ^{Рокет} ~~Александр Семенович~~ ~~Борис~~ ~~Сорокин~~ ~~Борис~~ ~~Сорокин~~ ~~Борис~~ ~~Сорокин~~
~~Борис~~ ~~Сорокин~~ ~~Борис~~ ~~Сорокин~~ ~~Борис~~ ~~Сорокин~~ ~~Борис~~ ~~Сорокин~~ ~~Борис~~ ~~Сорокин~~ ~~Борис~~ ~~Сорокин~~

концерт вяд, затерянный одми и роцми и шаром уже мот в конц
 ир в оуг позволило нечто, которое прервало разное времени. Именно в
^{Колчак}
 в оуг нер носиле. лад, который постепенно перадел в облик дучительней
 шей боли. бол, разостался, полетел по полям и вою вдуот ответил треску
 чий в мятном голосе концерт лягушек на прудах. Все это было так
 мило, что ко не нось даже на мр. овиэво, будто померья затвистенная
 колодезная чучь.

~~Борис~~ ~~Сорокин~~ оставил флягу и вышел на веранду.
^{Маша}
 - а ты сплншь? Вот проклятые собаки... чего они, как ты дума

ешь, пачесались.
^{Пётр} ² ^{Маша}
 - а в ачю? - ответил ~~Дом~~ ^{Дом}, глядя на луну.

- а в ачю, ^{Маша} ^{Семён}, но дем посмотрим на лички, - предложил ~~Семён~~ ^{Семён}
^{Семён} ^{Семёнович}

- а в ачю, ^{Маша} ^{Семён} ^{Семёнович} совсем помешался со своих ляками и курами.
~~Маша~~ ^{Маша} ^{Семён} ^{Семёнович}

- нет, ^{Маша} ^{Семён}, то дем.
^{Маша} ^{Семён} ^{Семёнович}

В овачежее рохет ~~Дом~~ ^{Дом} ^{Семён} ^{Семёнович} шар. Пиржала и Дуля с гордым лицом и
 свисталими плечами. ~~Борис~~ ^{Борис} ~~Сорокин~~ ^{Сорокин} ~~Борис~~ ^{Сорокин} ~~Борис~~ ^{Сорокин} ~~Борис~~ ^{Сорокин}
 и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежал
 пшартынный радань, испещренные пятнами ~~Семён~~ ^{Семён} ^{Семёнович} ярко-красные ляка,
 в гдеревах было девзеучно... а шар вверху в 10.000 свече. тихо липел.
^{Маша}

**THE
FATAL
EGGS**

**BY MIKHAIL BULGAKOV
AND OTHER
SOVIET
SATIRE**

**EDITED AND TRANSLATED BY
MIRRA GINSBURG**



EVERGREEN E-467 \$3.95

HEART OF A DOG

A NOVEL BY MIKHAIL BULGAKOV
AUTHOR OF THE MASTER AND MARGARITA
TRANSLATED BY MIRRA GINSBURG





Mikhail Bulgakov

DIABOLIAD

AND OTHER STORIES

Edited by Ellendea Proffer

and Carl R. Proffer

ДЪЯВОЛИАДА

М. БУЛГАКОВ

ДЬЯВОЛИАДА

Рассказы

Издательство «НЕДРА»
Моск. Госуд. Об'един. Полигр. Промышл.
(Мосполиграф)
1925

Происшествие 20-го числа

В то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в Главцентробазспимате (Главная Центральная База Спичечных Материалов) на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых 11 месяцев.

Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он — Коротков — будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так...

20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую ассигновку и уехал. Это было в 11 часов пополудни.

Вернулся же кассир в 4½ часа пополудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку — портфель и сказал:

— Не напирайте, господа.

Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу — свою правую руку, и молвил:

— Денег не будет.

— Завтра? — хором закричали женщины.

— Нет, — кассир замотал головой, — и завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стол опрокините.

— Как? — вскричали все и в том числе наивный Коротков.

— Граждане! — плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова, — я же прошу!

— Да как же? — кричали все и громче всех этот комик Коротков.

— Ну, пожалуйста, — сипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову.

Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира,

Дьяволиада

наискось было написано красными чернилами:

”Выдать. За т. Субботникова — Сенат”.

Ниже фиолетовыми чернилами было написано:

”Денег нет. За т. Иванова — Смирнов”.

— Как? — крикнул один Коротков, а остальные, пыхтя, навалились на кассира.

— Ах, ты, господи! — растерянно заныл тот. — При чем я тут? боже ты мой!

Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под-мышку, взмахнул курницей, крикнул: ”Пропустите, пожалуйста!” и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.

За ним с писком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках, левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю.

И в комнате осталась она, — босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков.

II

Продукты производства

Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала:

— Товарищ Коротков, идите жалование получать.

— Как? — радостно воскликнул Коротков и, насвистывая увертюру из ”Кармен”, побежал в комнату с надписью: ”касса”. У кассирского стола он остановился и широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой пришилил к стене ассигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:

”Выдать продуктами производства.

За т. Богоявленского — Преображенский.

И я полагаю — Кшесинский”.

Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него было 4 больших желтых пачки, 5 ма-

Дьяволиада

леньких зеленых, а в карманах 13 синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. У подъезда Спимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков не разглядел.

Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе:

— Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их продать.

Он постучался к соседке своей, Александре Федоровне, служащей в Губвинскладе.

— Войдите, — глухо отозвалось в комнате.

Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано.

— 46, — сказала она и повернулась к Короткову.

— Это чернила?.. — Здравствуйте, Александра Федоровна, — вымолвил пораженный Коротков.

— Церковное вино, — всхлипнув, ответила соседка.

— Как, и вам? — ахнул Коротков.

— И вам церковное? — изумилась Александра Федоровна.

— Нам — спички, — угасшим голосом ответил Коротков и закрутил пуговицу на пиджаке.

— Да ведь они же не горят! — вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.

— Как это так, не горят? — испугался Коротков и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с шипеньем вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй — в левый глаз товарища Короткова.

Дьяволиада

— А-ах! — крикнул Коротков и выронил коробку.

Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был красен и источал слезы.

— Ах, боже мой! — расстроился Коротков, немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненого в бою.

Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычиркал он, таким образом, три коробки, причем ему удалось зажечь 63 спички.

— Врет, дура, — ворчал Коротков, — прекрасные спички.

Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидел дурацкий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный, живой бильярдный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но потом все это пропало; поворочавшись, Коротков заснул и уже не просыпался.

III

Лысый появился

На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее повязку излишне осторожный Коротков решил пока не снимать.

Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый Коротков, чтобы не возбуждать кривотолков среди низших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу, в коей заведующий подотделом укомплектования запрашивал заведующего базой, — будет ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился по коридору к кабинету заведующего базой т. Чекушина.

И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным, поразившим его своим видом.

Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому Короткову только до талии. Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательнее всего была голова. Она представляла собою точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысой она была тоже, как яйцо, и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки. Крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые маленькие, как булавочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было облечено в расстегнутый, сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка, ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра I.

"Т-типик", — подумал Коротков и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил Короткову дорогу.

— Что вам надо? — спросил лысый Короткова таким голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот голос был совершенно похож на голос медного таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками. Несмотря на все это, недалёковидный Коротков сделал то, чего делать ни в коем случае не следовало, — обиделся.

— Гм... довольно странно. Я иду с бумагой... А позвольте узнать, кто вы так...

— А вы видите, что на двери написано?

Коротков посмотрел на дверь и увидал давно знакомую надпись: "Без доклада не входить".

— Я и иду с докладом, — сглупил Коротков, указывая на свою бумагу.

Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искорками.

— Вы, товарищ, — сказал он, оглушая Короткова кастрюльными звуками, — настолько неразвиты, что не понимаете значения самых простых служебных надписей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих пор. Во-

Дьяволиада

обще тут у вас много интересного, например, эти подбитые глаза на каждом шагу. Ну, ничего, это мы все приведем в порядок. ("А-а!" — ахнул про себя Коротков). Дайте сюда!

И с последними словами неизвестный вырвал из рук Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кармана штанов обгрызанный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов.

— Ступайте! — рывкнул он и ткнул бумагу Короткову так, что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь в кабинет взвyla и проглотила неизвестного, а Коротков остался в оцепенении, — в кабинете Чекушина не было.

Пришел в себя сконфуженный Коротков через полминуты, когда вплотную налетел на Лидочку де-Руни, личную секретаршу т. Чекушина.

— А-ах! — ахнул т. Коротков. Глаз у Лидочки был закутан точно таким же индивидуальным материалом с той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом.

— Что это у вас?

— Спички! — раздраженно ответила Лидочка, — проклятые.

— Кто там такой? — шопотом спросил убитый Коротков.

— Разве вы не знаете? — зашептала Лидочка, — новый.

— Как? — пискнул Коротков, — а Чекушин?

— Выгнали вчера, — злобно сказала Лидочка, и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета: — Ну, и гу-усь. Вот это фрукт. Такого противного я в жизнь свою не видала. Орет! Уволить!.. Подштанники лысые! — добавила она неожиданно, так что Коротков выпучил на нее глаз.

— Как фа...

Коротков не успел спросить. За дверью кабинета грянул страшный голос: "Курьера!" Делопроизводитель и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и произнес сам себе такую речь:

— Ай, яй, яй... Ну, Коротков, ты влопался. Нужно это дельце исправлять... "Неразвиты"... Хм... Нахал... Ладно! Вот увидишь, как это так Коротков неразвит.

И одним глазом делопроизводитель прочел писание лысого. На бумаге стояли кривые слова: "Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы

Дьяволиада

солдатские кальсоны”.

— Вот это здорово! — восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кальсонах. Он, немедля, вытащил чистый лист бумаги и в три минуты сочинил:

”Телефонограмма.

Заведующему подотделом укомплектования точка. В ответ на отношение ваше за №0,15015 (6) от 19-го числа, запятая Главспимат сообщает запятая, что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны точка Заведывающий тире подпись Делопроизводитель тире Варфоломей Коротков точка”.

Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону сказал:

— Заведующему на подпись.

Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел.

Четыре часа после этого Коротков прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый заведывающий, если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу. Но никаких звуков из страшного кабинета не доносилось. Раз только долетел смутный чугунный голос, как-будто угрожающий кого-то уволить, но кого именно, Коротков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине. В 3 1/2 часа по полудни за стеной канцелярии раздался голос Пантелеймона:

— Уехали на машине.

Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой т. Коротков.

IV

Параграф первый — Коротков вылетел

На следующее утро Коротков с радостью убедился, что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой, поэтому он с облегчением сбросил бинт и сразу похорошел и изменился. Напившись чаю на скорую руку, Коротков потушил примус и побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на 50 минут, из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломал-

Дьяволиада

ся. Коротков пешком одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы Альпийской Розы пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де-Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Номерацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир — словом, вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана Альпийской Розы, а стояла, сбившись в тесную кучку у стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание, и все потупились.

— Здравствуйте, господа, что это такое? — спросил удивленный Коротков.

Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке. Первые строчки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый, ошеломляющий туман.

”П р и к а з № 1”

1. ”За недопустимо халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах, а равно и за появление на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно”.

Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись:

Заведующий Кальсонер

Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале Альпийской Розы царило идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков. На двадцать первой секунде молчание лопнуло.

— Как? Как? — прозвенел два раза Коротков совершенно как разбитый о каблук Альпийский бокал, — его фамилия Кальсо — нер?..

При страшном слове канцелярские брызнули в разные стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменило гнилую зеленую плесень на пятнистый пурпур.

— Ай, яй, яй, — загудел в отдалении, выглядывая из гроссбуха, Скворец, — как же вы это так, батюшка, про-

Дьяволиада

махнулись? А?

— Я ду-думал, думал... — прохрустел осколками голоса Коротков, — прочитал вместо "Кальсонер" "Кальсоны". Он с маленькой буквы пишет фамилию!

— Подштанники я не одену, пусть он успокоится! — хрустально звякнула Лидочка.

— Тсс! — змеей зашипел Скворец, — что вы?

Он нырнул, спрятался в гробсбухе и прикрылся страшицей.

— А насчет лица он не имеет права! — негромко выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым как горностаи, — я нашими же сволочными спичками выжег глаз, как и товарищ де-Руни!

— Тише! — пискнул побледневший Гитис, — что вы? Он вчера испытывал их и нашел превосходными.

Д-р-р-р-р-р-р-р-р-р, — неожиданно зазвенел электрический звонок над дверью... и тотчас тяжелое тело Пантелеймона упало с табурета и покатилося по коридору.

— Нет! Я объяснюсь. Я объяснюсь! — высоко и тонко спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в коридоре и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надписью "отдельные кабинеты". Запыхавшись, он стал перед страшной дверью и очнулся в объятиях Пантелеймона.

— Товарищ Пантелеймон, — заговорил беспокойно Коротков. — Ты меня, пожалуйста,пусти. Мне нужно к заведующему сию минутку...

— Нельзя, нельзя, никого не велено пущать, — захрипел Пантелеймон и страшным запахом луку затушил решимость Короткова, — нельзя. Идите, идите, господин Коротков, а то мне через вас беда будет...

— Пантелеймон, мне же нужно, — угасая, попросил Коротков, — тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, случился приказ.. Пустименя, милый Пантелеймон.

— Ах ты ж, господи... — в ужасе обернувшись на дверь, забормотал Пантелеймон, — говорю вам, нельзя. Нельзя, товарищ!

В кабинете за дверью грянул телефонный звонок и ухнул в медь тяжкий голос:

— Еду! Сейчас!

Пантелеймон и Коротков расступились; дверь распах-

Дьяволиада

нулась и по коридору понесся Кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон впритруску побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколебавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора Коротков, бледный и взволнованный, проскочил под руками Пантелеймона, обогнал Кальсонера и побежал перед ним задом.

— Товарищ Кальсонер, — забормотал он прерывающимся голосом, — позвольте одну минуточку сказать... Тут я по поводу приказа...

— Товарищ! — звякнул бешено стремящийся и озабоченный Кальсонер, сметая Короткова в беге. — Вы же видите, я занят? Еду! Еду!..

— Так я насчет прика...

— Неужели вы не видите, что я занят?.. Товарищ! Обратитесь к делопроизводителю.

Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган Альпийской Розы.

— Я ж делопроизводитель! — в ужасе облившись потом, визгнул Коротков, — выслушайте меня, товарищ Кальсонер!

— Товарищ! — заревел, как сирена, ничего не слушая, Кальсонер, и, на ходу обернувшись к Пантелеймону, крикнул: — Примите меры, чтобы меня не задерживали!

— Товарищ! — испугавшись, захрипел Пантелеймон, — что ж вы задерживаете?

И не зная, какую меру нужно принять, принял такую, — ухватил Короткова поперек туловища и легонько прижал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась действительной — Кальсонер ускользнул, словно на роликах скатился с лестницы и выскочил в парадную дверь.

— Пит! Питт! — закричала за стеклами мотоциклетка, выстрелила пять раз и, закрыв дымом окна, исчезла. Тут только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот с лица и проревел:

— Бе-да!

— Пантелеймон... — трясущимся голосом спросил Коротков, — куда он поехал? Скорее скажи, он другого, понимаешь ли...

— Кажись, в Центроснаб.

Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кэпку и выбежал на улицу.

Дьявольский фокус

Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с Альпийской Розой. Удачно прыгнув, Коротков понесся вперед, стучаясь то о тормозное колесо, то о мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мотоциклетка почему-то задержалась и теперь тарахтела впереди трамвая, и Коротков то терял из глаз, то вновь обретал квадратную спину в туче синего дыма. Минут пять Короткова колотило и мяло на площадке, наконец у серого здания Центроснаба мотоциклетка стала. Квадратное тело закрылось прохожими и исчезло. Коротков на ходу вырвался из трамвая, повернулся по оси, упал, ушиб колено, поднял кэпку и, под носом автомобиля, поспешил в вестибюль.

Покрывая полы мокрыми пятнами, десятки людей шли навстречу Короткову или обгоняли его. Квадратная спина мелькнула на втором марше лестницы и, задыхаясь, он поспешил за ней. Кальсонер поднимался со странной, неестественной скоростью, и у Короткова сжималось сердце при мысли, что он упустит его. Так и случилось. На 5-й площадке, когда делопроизводитель совершенно обессилел, спина растворилась в гуще физиономий, шапок и портфелей. Как молния Коротков взлетел на площадку и секунду колебался перед дверью, на которой было две надписи. Одна золотая по зеленому с твердым знаком "Дортуар пепиньерок", другая черным по белому без твердого "Начканцуправделснаб". Наудачу Коротков устремился в эти двери и увидел стеклянные огромные клетки и много белокурых женщин, бегавших между ними. Коротков открыл первую стеклянную перегородку и увидел за нею какого-то человека в синем костюме. Он лежал на столе и весело смеялся в телефон. Во втором отделении на столе было полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова, а возле собрания неизвестная пожилая женщина в платке взвешивала на весах сушеную и дурно пахнущую рыбу. В третьем царил дробный непрерывный грохот и звоночки — там за шестью машинами писали и смеялись шесть светлых, мелкозубых женщин. За последней перегородкой открывалось большое пространство с пухлыми

колоннами. Невыносимый треск машин стоял в воздухе, и виднелась масса голов, — женских и мужских, но Кальсонеровой среди них не было. Запутавшись и завертевшись, Коротков остановил первую попавшуюся женщину, пробегающую с зеркальцем в руках.

— Не видели ли вы Кальсонера?

Сердце в Короткове упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза:

— Да, но он сейчас уезжает. Догоняйте его.

Коротков побегал через колонный зал туда, куда ему указывала маленькая белая рука с блестящими красными ногтями. Проскакав зал, он очутился на узкой темноватой площадке и увидел открытую пасть освещенного лифта. Сердце ушло в ноги Короткову, — догнал... пасть принимала квадратную одеяльную спину и черный блестящий портфель.

— Товарищ Кальсонер, — прокричал Коротков и очутился. Зеленые круги в большом количестве запрыгали по площадке. Сетка закрыла стеклянную дверь, лифт тронулся, и квадратная спина, повернувшись, превратилась в богатырскую грудь. Все, все узнал Коротков: и серый френч, и кэпку, и портфель, и изюминки глаз. Это был Кальсонер, но Кальсонер с длинной ассирийско-гофрированной бородой, ниспадавшей на грудь. В мозгу Короткова немедленно родилась мысль: "Борода выросла, когда он ехал на мотоциклетке и поднимался по лестнице, — что же это такое?" И затем вторая: "Борода фальшивая, — это что же такое?"

А Кальсонер тем временем начал погружаться в сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, затем живот, борода, последними глазки и рот, выкрикнувший нежные теноревые слова:

— Поздно, товарищ, в пятницу.

"Голос тоже привязной", — стукнуло в Коротковском черепе. Секунды три мучительно горела голова, но потом, вспомнив, что никакое колдовство не должно останавливать его, что остановка — гибель, Коротков двинулся к лифту. В сетке показалась поднимающаяся на канате кровля. Томная красавица с блестящими камнями в волосах вышла из-за трубы и, нежно коснувшись руки Короткова, спросила его:

— У вас, товарищ, порок сердца?

— Нет, ох нет, товарищ, — выговорил ошеломленный

Коротков и шагнул к сетке, — не задерживайте меня.

— Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу, — сказала печально красавица, преграждая Короткову дорогу к лифту.

— Я не хочу! — плаксиво вскричал Коротков, — товарищ! Я спешу. Что вы?

Но женщина осталась непреклонной и печальной.

— Ничего не могу сделать, вы сами знаете, — сказала она и придержала за руку Короткова. Лифт остановился, выплюнул человека с портфелем, закрылся сеткой и опять ушел вниз.

— Пустите меня! — визгнул Коротков и, вырвав руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице. Пролетев шесть мраморных маршей и, чуть не убив высокую перекрестившуюся старуху в наколке, он оказался внизу возле огромной новой стеклянной стены с надписью вверху серебром по синему "Дежурные классные дамы" и внизу пером по бумаге "Справочное". Темный ужас охватил Короткова. За стеной ясно мелькнул Кальсонер. Кальсонер иссиня бритый, прежний и страшный. Он прошел совсем близко от Короткова, отделенный от него лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не думать, Коротков кинулся к блестящей медной ручке и потряс ее, но она не поддавалась.

Скрипнув зубами, он еще раз рванул сияющую медь и тут только в отчаянии разглядел крохотную надпись: "Кругом, через 6-й подъезд".

Кальсонер мелькнул и сгинул в черной нише за стеклом.

— Где шестой? Где шестой? — слабо крикнул он кому-то. Прохожие шарахнулись. Маленькая боковая дверь открылась, и из нее вышел люстриновый старичок в синих очках с огромным списком в руках. Глянув на Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами.

— Что? Все ходите? — зашамкал он, — ей богу, напрасно. Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте. Все равно я вас уже вычеркнул. Хи-хи.

— Откуда вычеркнули? — остолбенел Коротков.

— Хи. Известно откуда, из списков. Карандашиком — цирк, и готово — хи-кхи, — старичок сладострастно засмеялся.

— Поз... вольте... Откуда же вы меня знаете?

— Хи. Шутник вы, Василий Павлович.

Дьяволиада

— Я — Варфоломей, — сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб, — Петрович.

Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка.

Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным когтем провел по строчкам.

— Что ж вы путаете меня? Вот он — Колобков, В.П.

— Я — Коротков, — нетерпеливо крикнул Коротков.

— Я и говорю: Колобков, — обиделся старичок. — А вот и Кальсонер. Оба вместе переведены, а на место Кальсонера — Чекушин.

— Что?.. — не помня себя от радости, крикнул Коротков. — Кальсонера выкинули?

— Точно так-с. День всего успел поуправлять и вышибли.

— Боже! — ликуя, воскликнул Коротков, — я спасен! Я спасен, — и, не помня себя, он сжал костлявую когтистую руку старичка. Тот улыбнулся. На миг радость Короткова померкла. Что-то странное, зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показала и улыбка, обнажавшая сизые десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился.

— Стало быть, мне сейчас в Спимат нужно бежать?

— Обязательно, — подтвердил старичок, — тут и сказано в Спимат. Только позвольте вашу книжечку, я пометочку в ней сделаю карандашиком.

Коротков тотчас полез в карман, побледнел, полез в другой, еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам брюк, и с заглушенным воплем бросился обратно по лестнице, глядя себе под ноги. Сталкиваясь с людьми, отчаянный Коротков взлетел до самого верха, хотел увидеть красавицу с камнями, у нее что-то спросить, и увидал, что красавица превратилась в уродливого, сопливого мальчишку:

— Голубчик! — бросился к нему Коротков, — бумажник мой, желтый...

— Неправда это, — злобно ответил мальчишка, — не брал я, врут они.

— Да нет, милый, я не то... не ты... документы.

Мальчишка посмотрел исподлобья и вдруг заревел басом.

— Ах, боже мой! — в отчаянии вскричал Коротков и понесся вниз к старичку.

Но когда он прибежал, старичка уже не было. Он ис-

Дьяволиада

чез. Коротков кинулся к маленькой двери, рванул ручку. Она оказалась запертой. В полутьме пахло чуть-чуть серой.

Мысли закрутились в голове Короткова метелью и выпрыгнула одна новая: "Трамвай!". Он ясно вдруг вспомнил, как жали его на площадке двое молодых людей, один из них худенький с черными, словно приклеенными, усиками.

— Ах, беда-то, вот уж беда, — бормотал Коротков, — это уж всем бедам беда.

Он выбежал на улицу, пробежал ее до конца, свернул в переулок и очутился у подъезда небольшого здания неприятной архитектуры. Серый человек, косой и мрачный, глядя не на Короткова, а куда-то в сторону, спросил:

— Куда ты лезешь?

— Я, товарищ, Коротков, Вэ Пэ, у которого только что украли документы... Все до единого... Меня забрать могут...

— И очень просто, — подтвердил человек на крыльце.

— Так вот позвольте...

— Пуцай Коротков самолично и придет.

— Так я же, товарищ, Коротков.

— Удостоверение дай.

— Украли его у меня только что, — застонал Коротков, — украли, товарищ, молодой человек с усиками.

— С усиками? Это, стало-быть, Колобков. Беспременно он. Он в нашем районе специально работает. Ты его теперь по чайным ищи.

— Товарищ, я не могу, — заплакал Коротков, — мне в Спимат нужно к Кальсонеру. Пустите меня.

— Удостоверение дай, что украли.

— От кого?

— От домового.

Коротков покинул крыльцо и побежал по улице.

"В Спимат или к домовому? — подумал он: — У домового прием с утра; в Спимат, стало быть".

В это мгновение часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне и тотчас из всех дверей побежали люди с портфелями. Наступили сумерки, и редкий мокрый снег пошел с неба.

"Поздно", — подумал Коротков, "домой".

VI

Первая ночь

В ушке замка торчала белая записка. В сумерках Коротков прочитал ее.

”Дорогой сосед!

Я уезжаю к маме в Звенигород. Оставляю вам в подарок вино. Пейте на здоровье — его никто не хочет покупать. Оно в углу.

!Ваша А. Пайкова.”

Косо улыбнувшись, Коротков прогремел замком, в двадцать рейсов перетащил к себе в комнату все бутылки, стоящие в углу коридора, зажег лампу и, как был, в кэпке, и пальто, повалился на кровать. Как зачарованный, около получаса он смотрел на портрет Кромвеля, растворяющийся в густых сумерках, потом вскочил и внезапно впал в какой-то припадок буйного характера. Сорвав кэпку, он швырнул ее в угол, одним взмахом сбросил на пол пачки со спичками и начал топтать их ногами.

— Вот! Вот! Вот! — провыл Коротков и с хрустом давил чортовы коробки, смутно мечтая, что он давит голову Кальсонера.

При воспоминании об яйцевидной голове, появилась вдруг мысль о лице бритом и бородатом, и тут Коротков остановился.

— Позвольте... Как же это так?.. — прошептал он и провел рукой по глазам, — это что же? Чего же я стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно. Ведь, не двойной же он, в самом деле?

Страх пополз через черные окна в комнату, и Коротков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. Но от этого не полегчало. Двойное лицо, то обрастая бородой, то внезапно обриваясь, выплывало по временам из углов, сверкая зеленоватыми глазами. Наконец, Коротков не выдержал и, чувствуя, что мозг его хочет треснуть от напряжения, тихонечко заплакал.

Наплакавшись и получив облегчение, он поел вчерашней скользкой картошки, потом опять, вернувшись к проклятой загадке, немного поплакал.

— Позвольте... — вдруг пробормотал он, — чего же это я плачу, когда у меня есть вино?

Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая жидкость подействовала через пять минут, — мучительно заболел левый висок, и жгуче и тошно захотелось пить. Выпив три стакана воды, Коротков от боли в виске совершенно забыл Кальсонера, со стоном содрал с себя верхнюю одежду и, томно закатывая глаза, повалился на постель. "Пирамидону бы..." шептал он долго, пока мутный сон не сжался над ним.

VII

Орган и кот

В 10 часов утра следующего дня Коротков наскоро вскипятил чай, отпил без аппетита четверть стакана и, чувствуя, что предстоит трудный, хлопотливый день, покинул свою комнату и перебежал в тумане через мокрый асфальтовый двор. На двери флигеля было написано: "Домовой". Рука Короткова уже потянулась к кнопке, как глаза его прочитали: "По случаю смерти свидетельства не выдаются".

— Ах ты, господи, — досадливо воскликнул Коротков, — что же это за неудачи на каждом шагу. — И добавил: — ну, тогда с документами потом, а сейчас в Спимат. Надо разузнать, как и что. Может, Чекушин уже вернулся.

Пешком, так как деньги все были украдены, Коротков добрался до Спимата и, пройдя вестибюль, прямо направил свои стопы в канцелярию. На пороге канцелярии он приостановился и приоткрыл рот. Ни одного знакомого лица в хрустальном зале не было. Ни Дрозда, ни Анны Евграфовны, словом — никого. За столами, напоминая уже не ворон на проволоке, а трех соколов Алексея Михайловича, сидели три совершенно одинаковых бритых блондина в светлосерых клетчатых костюмах и одна молодая женщина с мечтательными глазами и бриллиантовыми серьгами в ушах. Молодые люди не обратили на Короткова никакого внимания, и продолжали скрипеть в гроссбухах, а женщина сделала Короткову глазки. Когда же он в ответ на это растерянно улыбнулся, та надменно улыбнулась

Дьяволиада

и отвернулась. "Странно", подумал Коротков и, запнувшись о порог, вышел из канцелярии. У двери в свою комнату он поколебался, вздохнул, глядя на старую милую надпись: "Делопроизводитель", открыл дверь и вошел. Свет немедленно померк в коротковских глазах, и пол легонечко качнулся под ногами. За коротковским столом, растопырив локти и бешено строча пером, сидел своей собственной персоной Кальсонер. Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь. Дыхание перехватило у Короткова, пока он глядел на лакированную лысину над зеленым сукном. Кальсонер первый нарушил молчание.

— Что вам угодно, товарищ? — вежливо проворковал он фальцетом.

Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно:

— Кхм... я, товарищ, здешний делопроизводитель... То есть... ну да, ежели помните приказ...

Изумление изменило резко верхнюю часть лица Кальсонера. Светлые его брови поднялись, и лоб превратился в гармонику.

— Извиняюсь, — вежливо ответил он, — здешний делопроизводитель — я.

Временная немота поразила Короткова. Когда же она прошла, он сказал такие слова:

— А как же? Вчера, то-есть. Ах, ну да. Извините, пожалуйста. Впрочем, я спутал. Пожалуйста.

Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло:

— Коротков, припомни-ка, какое сегодня число?

И сам же себе ответил:

— Вторник, т.-е. пятница. Тысяча девятьсот.

Он повернулся и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом шаре слоновой кости две коридорных лампочки и бритое лицо Кальсонера заслонило весь мир.

— Хорошо! — грохнул таз, и судорога свела Короткова, — я жду вас. Отлично. Рад познакомиться.

С этими словами он пододвинулся к Короткову и так пожал ему руку, что тот встал на одну ногу, словно аист на крыше.

— Штат я разверстал, — быстро, отрывисто и веско заговорил Кальсонер. — Трое там, — он указал на дверь в канцелярию, — и, конечно, Манечка. Вы — мой помощник.

Дьяволиада

Кальсонер — делопроизводитель. Прежних всех в шею. И идиота Пантелеймона также. У меня есть сведения, что он был лакеем в Альпийской Розе. Я сейчас сбегая в от-дел, а вы пока напишите с Кальсонером отношение насчет всех и в особенности насчет этого, как его... Короткова. Кстати: вы немного похожи на этого мерзавца. Только у того глаз подбитый.

— Я. Нет, — сказал Коротков, качаясь и с отвисшей челюстью, — я не мерзавец. У меня украли все документы. До единого.

— Все? — выкрикнул Кальсонер, — вздор. Тем лучше.

Он впился в руку тяжело задыхавшего Короткова и, пробежав по коридору, втопил его в заветный кабинет и бросил на пухлый кожаный стул, а сам уселся за стол. Коротков, все еще чувствуя странное колебание пола под ногами, съезжился и, закрыв глаза, забормотал: "Двадцатое было понедельник, значит вторник, двадцать первое. Нет. Что я? Двадцать первый год. Исходящий № 0,15, место для подписи тире Варфоломей Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. И понедельник на Пэ и пятница на Пэ, а воскресенье...вскрсс... на Эс, как и среда...

Кальсонер с треском расчеркнулся на бумаге, хлопнул по ней печатью и ткнул ему. В это мгновение яростно зазвонил телефон. Кальсонер ухватился за трубку и заорал в нее:

— Ага! Так. Так. Сию минуту приеду.

Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, прикрыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными словами:

— Ждите меня у Кальсонера.

Все решительно помутилось в глазах Короткова, когда он прочел написанное на бумажке со штампом:

"Предъявитель сего суть действительно мой помощник т. Василий Павлович Колобков, что действительно верно. Кальсонер".

— О-о! — простонал Коротков, роняя на пол бумагу и фуражку, — что же это такое делается?

В эту же минуту дверь спела визгливо, и Кальсонер вернулся к своей бороде.

— Кальсонер уже удрал? — тоненько и ласково спросил он у Короткова.

Свет кругом потух.

Дьяволиада

— А-а-а-а... — взвыл, не вытерпев пытки, Коротков и, не помня себя, подскочил к Кальсонеру, оскалив зубы. Ужас изобразился на лице Кальсонера до того, что оно сразу пожелтело. Задом навалившись на дверь, он с грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержавшись, сел на корточки, но тотчас выпрямился и бросился бежать с криком:

— Курьер! Курьер! На помощь!

— Стойте. Стойте. Я вас прошу, товарищ... — опомнившись выкрикнул Коротков и бросился вслед.

Что-то загремело в канцелярии, и соколы вскочили, как по команде. Мечтательные глаза женщины взметнулись у машины.

— Будут стрелять. Будут стрелять! — пронесся ее истерический крик.

Кальсонер выскочил в вестибюль на площадку с органом первым, секунду поколебался, куда бежать, рванулся и, круто срезав угол, исчез за органом. Коротков бросился за ним, поскользнулся, и, наверно, разбил бы себе голову о перила, если бы не огромная кривая и черная ручка, торчащая из желтого бока. Она подхватила полу Коротковского пальто, гнилой шевиот с тихим писком расползся, и Коротков мягко сел на холодный пол. Дверь бокового хода за органом со звоном захлопнулась за Кальсонером.

— Боже... — начал Коротков и не кончил.

В грандиозном ящике с запыленными медными трубами послышался странный звук, как будто лопнул стакан, затем пыльное, утробное ворчание, странный хроматический писк и удар колоколов. Потом звучный мажорный аккорд, бодрящая полнокровная струя, и весь желтый трехъярусный ящик заиграл, пересыпая внутри залежи застоявшегося звука:

Шумел, гремел пожар Московский...

В черном квадрате двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг, и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристяжная, покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками.

Ды-ым расстился по реке-е.

— Что я наделал? — ужаснулся Коротков.

Машина, провернув первые застоявшиеся волны, пошла ровно, тысячеголовым, львиным ревом и звоном наполняя пустынные залы Спимата.

А на стенах ворот Кремлевских...

Сквозь вой и грохот, и колокола прорвался сигнал автомобиля, и тотчас Кальсонер возвратился через главный вход, — Кальсонер бритый, мстительный и грозный. В зловещем синеватом сиянии он плавно стал подниматься по лестнице. Волосы зашевелились на Короткове и, взвившись, он через боковые двери по кривой лестнице за органом выбежал на усеянный щебнем двор, а затем на улицу. Как на угонке полетел он по улице, слушая, как вслед ему глухо рокотало здание Альпийской Розы:

Стоял он в сером скюртуке...

На углу извозчик, взмахивая кнутом, бешено рвал клячу с места.

— Господи! господи! — бурно зарыдал Коротков, — опять он! Да что же это?

Кальсонер бородатый вырос из мостовой возле пролетки, вскочил в нее и начал лупить извозчика в спину, приговаривая тоненьким голосом:

— Гони! Гони, негодяй!

Кляча рванула, стала лягать ногами, затем под жгучими ударами кнута понеслась, наполнив экипажным грохотом улицу. Сквозь бурные слезы Коротков видел, как лакированная шляпа слетела у извозчика, а из-под нее разлетелись в разные стороны вьющиеся денежные бумажки. Мальчишки со свистом погнались за ними. Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул вожжи, но Кальсонер бешено начал тузить его в спину с воплем:

— Езжай! Езжай! Я заплачу.

Извозчик, выкрикнув отчаянно:

— Эх, ваше здоровье, погибать, что ли? — пустил клячу карьером, и все исчезло за углом.

Рыдая, Коротков глянул на серое небо, быстро несущееся над головой, пошатался и закричал болезненно:

— Довольно. Я так не оставлю! Я его разьясню. — Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга пошатала его минут пять и сбросила у девятиэтажного зеленого здания. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул голову в четырехугольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника:

— Где бюро претензий, товарищ?

— 8-й этаж, 9-й коридор, квартира 41-я, комната 302, — ответил чайник женским голосом.

— 8-й, 9-й, 41-я, триста... триста... сколько бишь.. 302, — бормотал Коротков, взбегая по широкой лестнице. — 8-й, 9-й, 8-й, стоп, 40... нет 42... нет, 302, — мычал он, — ах, боже, забыл... да 40-я, сороковая...

В 8-м этаже он миновал три двери, увидел на четвертой черную цифру "40" и вошел в необъятный двухсветный зал с колоннами. В углах его лежали катушки рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными бумажными обрывками. В отделении маячил столик с машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песенку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. Растерянно оглянувшись, Коротков увидел, как с эстрады за колоннами сошла, тяжело ступая, массивная фигура мужчины в белом кунтуше. Седоватые отвисшие усы виднелись на его мраморном лице. Мужчина, улыбаясь необыкновенно вежливой, безжизненной гипсовой улыбкой, подошел к Короткову, нежно пожал ему руку и молвил, щелкнув каблуками:

— Ян Собесский.

— Не может быть... — ответил пораженный Коротков.

Мужчина приятно улыбнулся.

— Представьте, многие изумляются, — заговорил он с неправильными ударениями, — но вы не подумайте, товарищ, что я имею что-либо общее с этим бандитом. О, нет. Горькое совпадение, больше ничего. Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии — Соцвосский. Это гораздо красивее, и не так опасно. Впрочем, если вам неприятно, — мужчина обидчиво скривил рот, — я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас ищут.

— Помилуйте, что вы, — болезненно выкрикнул Коротков, чувствуя, что и тут начинается что-то странное, как и везде. Он оглянулся травленным взором, боясь, что откуда-

нибудь вынырнет бритый лик и лысина-скорлупа, а потом добавил суконным языком: — я очень рад, да, очень...

Пестрый румянец чуть проступил на мраморном человеке; нежно поднимая руку Короткова, он повлек его к столу, приговаривая:

— И я очень рад. Но вот беда, вообразите: мне даже негде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наше значение (мужчина махнул рукой на катушки бумаги). Интриги... Но-о, мы развернемся, не беспокойтесь... Гм... Чем же вы порадуете нас новеньким? — ласково спросил он у бледного Короткова. — Ах, да, виноват, виноват, тысячу раз, позвольте вас познакомить, — он изящно махнул белой рукой в сторону машинки, — Генриетта Потаповна Персимфанс.

Женщина тотчас же пожала холодной рукой руку Короткова и посмотрела на него томно.

— Итак, — сладко продолжал хозяин, — чем же вы нас порадуете? Фельетон? Очерки? — закатив белые глаза, протянул он, — вы не можете себе представить, до чего они нужны нам.

”Царица небесная... что это такое?” — туманно подумал Коротков, потом заговорил, судорожно переводя дух.

— У меня... э... произошло ужасное. Он... Я не понимаю. Вы не подумайте, ради бога, что это галлюцинации... Кхм... ха-кха... (Коротков попытался искусственно засмеяться, но это не вышло у него). Он живой. Уверю вас... но я ничего не пойму, то с бородой, а через минуту без бороды. Я прямо не понимаю... И голос меняет... кроме того у меня украли все документы до единого, а домовую, как на грех, умер. Этот Кальсонер...

— Так я и знал, — вскричал хозяин, — это они?

— Ах, боже мой, ну, конечно, — отозвалась женщина, — ах, эти ужасные Кальсонеры.

— Вы знаете, — перебил хозяин взволнованно, — я из-за него сижу на полу. Вот-с, полюбуйтесь. Ну, что он понимает в журналистике?... — хозяин ухватил Короткова за пуговицу, — будьте добры, скажите, что он понимает? Два дня он пробыл здесь, и совершенно меня замучил. Но, представьте, счастье. Я ездил к Федору Васильевичу и тот, наконец, убрал его. Я поставил вопрос остро: я или он. Его перевели в какой-то Спимат, или, чорт его знает, еще куда. Пусть воняет там этими спичками! Но мебель, мебель он успел

Дьяволиада

передать в это проклятое бюро. Всю. Ну угодно ли? На чем я, позвольте узнать, буду писать? На чем будете писать вы? Ибо я не сомневаюсь, что вы будете наш, дорогой (хозяин обнял Короткова). Прекрасную атласную мебель Луи Каторз этот прохвост безответственным приемом спихнул в это дурацкое бюро, которое завтра все равно закроют к чортовой матери.

— Какое бюро? — глухо спросил Коротков.

— Ах, да эти претензии или как их там, — с досадой сказал хозяин.

— Как? — крикнул Коротков, — как? Где оно?

— Там, — изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в пол. Коротков в последний раз окинул безумными глазами белый кунтуш и через минуту оказался в коридоре. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора, и через пять минут оказался у того места, откуда выбежал. Дверь № 40.

— Ах, чорт! — ахнул Коротков, потоптался и побежал вправо и через 5 минут опять был там же. № 40. Рванув дверь, Коротков вбежал в зал и убедился, что тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде и тут увидел хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без улыбки с обиженным лицом.

— Извините, что я не попрощался... — начал было Коротков и смолк. Хозяин стоял без уха и носа, и левая рука у него была отломана. Пятясь и холодея, Коротков выбежал опять в коридор. Незаметная потайная дверь напротив вдруг открылась, и из нее вышла сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на коромысле.

— Баба! Баба! — тревожно закричал Коротков, — где бюро?

— Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец, — ответила баба, — да ты не бегай, миленький, все одно не найдешь. Разве мыслимо — десять этажей.

— У-у... д-дура, — стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь. Она захлопнулась за ним, и Коротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода. Бросаясь в стены и царапаясь, как засыпанный в шахте, он, наконец, навалился на белое пятно, и оно выпустило его на какую-то лестницу. Дробно стуча, он побежал вниз.

Дьяволиада

Шаги слышались ему навстречу снизу. Тоскливое беспокойство сжало сердце Короткова, и он стал останавливаться. Еще миг, — и показалась блестящая фуражка, мелькнуло серое одеяло и длинная борода. Коротков качнулся и вцепился в перила руками. Одновременно скрестились взоры, и оба завывли тонкими голосами страха и боли. Коротков задом стал отступать вверх, Кальсонер попятился вниз, полный неизбежного ужаса.

— Постойте, — прохрипел Коротков, — минутку... вы только объясните...

— Спасите! — заревел Кальсонер, меняя тонкий голос на первый свой медный бас. Оступившись, он с громом упал вниз затылком: удар не прошел ему даром. Обернувшись в черного кота с фосфорными глазами, он вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине. Белая пелена на миг заволокла коротковский мозг, но тотчас свалилась и наступило необыкновенное прояснение.

— Теперь все понятно, — прошептал Коротков и тихонько рассмеялся, — ага, понял. Вот оно что. Коты! Все понятно. Коты.

Он начал смеяться все громче, громче, пока вся лестница не наполнилась гулками раскатами.

VIII

Вторая ночь

В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой кровати, выпил три бутылки вина, чтобы все забыть и успокоиться. Голова теперь у него болела вся: правый и левый висок, затылок и даже веки. Легкая муть поднималась со дна желудка, ходила внутри волнами и два раза тов. Короткова рвало в таз.

— Я вот так сделаю, — слабо шептал Коротков, свесив вниз голову, — завтра я постараюсь не встречаться с ним. Но так как он вертится всюду, то я пережду. Пережду: в перелучке или в тупичке. Он себе мимо и пройдет. А если он погонится за мной, я убегу. Он и отстанет. Иди себе, мол,

своей дорогой. И я уж больше не хочу в Спимат. Бог с тобой. Служи себе и заведующим и делопроизводителем, и трамвайных денег я не хочу. Обойдусь и без них. Только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое. Кот ты или не кот, с бородой или без бороды, — ты сам по себе, я сам по себе. Я себе другое местечко найду и буду служить тихо и мирно. Ни я никого не трогаю, ни меня никто. И претензий на тебя никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе документы — и шабаш...

В отдалении глухо начали бить часы. Бам... бам... — Это у Пеструхиных, — подумал Коротков и стал считать. Десять... одиннадцать... полночь, 13, 14, 15... 40...

— Сорок раз пробили часики, — горько усмехнулся Коротков, а потом опять заплакал. Потом его опять судорожно и тяжело стошнило церковным вином.

— Крепкое, ох, крепкое вино, — выговорил Коротков и со стоном откинулся на подушку. Прошло часа два, и непотушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы.

IX

Машинная жуть

Осенний день встретил тов. Короткова расплывчато и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался на 8-й этаж, повернул наобум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись "Комнаты 302 — 349". Следуя пальцу спасительной руки, он добрался до двери с надписью "302 — бюро претензий". Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней — смуглой и матовой, поклонился и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова.

— Выйдем в коридор, — резко сказала матовая и судорожно поправила прическу:

"Боже мой, опять, опять что-то..." — тоскливо мелькнуло в голове Короткова. Тяжело вздохнув, он повиновался.

Дьяволиада

Шесть оставшихся взволнованно зашущукались вслед.

Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала:

— Вы ужасны... Из-за вас я не спала всю ночь и решила. Будь по-вашему. Я отдамся вам.

Коротков посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки Короткова, притянула его к себе и зашептала:

— Что ж ты молчишь, соблазнитель? Ты покори меня своею храбростью, мой змий. Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии.

Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз Короткова.

— Я отдамся тебе... — шепнуло у самого рта Короткова.

— Мне не надо, — сипло ответил он, — у меня украли документы.

— Тэк-с, — вдруг раздалось сзади.

Коротков обернулся и увидел люстринового старичка.

— А-ах! — вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь.

— Хи, — сказал старичок, — здорово. Куда ни придешь, вы, господин Колобков. Ну, и хват же вы. Да что там, целуй не целуй, не выцелуете командировку. Мне старичку дали, мне и ехать. Вот что-с.

С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш.

— А заявленьце я на вас подам, — злобно продолжал люстрин, — да-с. Растлили трех в главном отделе, теперь, стало-быть, до подотделов добираетесь? Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно? Горюют они теперь, бедные девочки, да ау, поздно-с. Не воротишь девичьей чести. Не воротишь.

Старичок вытащил большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался.

— Из рук старичка подъемные крохи желаете выдрать, господин Колобков? Что ж... — Старичок затрясся и зарыдал, уронил портфель, — берите, кушайте. Пушай беспар-

Дьяволиада

тийный, сочувствующий старичок с голоду помирает... Пущай, мол. Туда ему и дорога, старой собаке. Ну, только попомните, господин Колобков, — голос старичка стал пророчески грозным и налился колоколами, — не пойдут они вам в прок, денежки эти сатанинские. Колом в горле они у вас станут, — и старичок разлился в буйных рыданиях.

Истерика овладела Коротковым; внезапно и неожиданно для самого себя, он дробно затопал ногами.

— К чортовой матери! — тонко закричал он, и его больной голос разнесся по сводам, — я не Колобков. Отлезь от меня! Не Колобков. Не еду! Не еду!

Он начал рвать на себе воротничок.

Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал.

— Следующий! — каркнула дверь. Коротков смолк и кинулся в нее, свернул влево, миновав машинки, и очутился перед рослым, изящным блондином в синем костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал:

— Покороче, товарищ. Разом. В два счета. Полтава или Иркутск?

— Документы украли, — дико озираясь, ответил растерзанный Коротков, — и кот появился. Не имеет права. Я никогда в жизни не дрался, это спички. Преследовать не имеет права. Я не посмотрю, что он Кальсонер. У меня украли до...

— Ну, это вздор, — ответил синий, — обмундирование дадим, и рубахи, и простыни. Если в Иркутск, так даже и полушубок подержанный. Короче.

Он музыкально звякнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал:

— Пожалте, Сергей Николаевич.

И тотчас из ясеневого ящика выглянула причесанная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как змеиная, шея, хрустнул крахмальнный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду законченный секретарь, с писком "Доброе утро", вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту же минуту застрочил.

Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему:

— Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это такое?..

Дьяволиада

— Естественно вылез, ответил синий, — не лежать же ему весь день. Пора. Время. Хронометраж.

— Но как? Как? — зазвенел Коротков.

— Ах, ты, господи, — взволновался синий, — не задерживайте, товарищ.

Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула возбужденно и радостно:

— Я уже заслала его документы в Полтаву. И я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под 43 градусом широты и 5-м долготы.

— Ну и чудесно, — ответил блондин, — а то мне надоела эта волянка.

— Я не хочу! — вскричал Коротков, блуждая взором. — Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого не могу. Не хочу! Верните документы. Священную мою фамилию. Восстановите!

— Товарищ, это в отделе брачующихся, — запищал секретарь, — мы ничего не можем сделать.

— О, дурашка! — воскликнула брюнетка, выглянув опять, — соглашайся! Соглашайся! — кричала она суфлерским шопотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась.

— Товарищ! — зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы. — Товарищ! Умоляю тебя, дай документы. Будь другом. Будь, прошу тебя всеми фибрами души, и я уйду в монастырь.

— Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно изложите письменно и устно, срочно и секретно — Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого человека! По коридорам не ходить! Не плевать! Не курить! Разменом денег не затруднять! — выйдя из себя загремел блондин.

— Рукопожатия отменяются! — кукарекнул секретарь.

— Да здравствуют объятия! — страстно шепнула брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав ландышем шею Короткова.

— Сказано в заповеди тринадцатой : не входи без доклада к ближнему твоему, — прошамкал люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая лапами крылатки... — Я и не вхожу, не вхожу-с, — а бумажку все-таки подброшу, вот так, хлоп!.. подпишешь любую — и на скамье подсудимых. — Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы, как чайки скалы на берегу.

Дьяволиада

Мать заходила в комнате, и окна стали качаться.
— Товарищ блондин! — плакал истомленный Коротков, — застрели ты меня на месте, но выправь ты мне какой ни на есть документик. Руку я тебе поцелую.

В мути блондин стал пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковы листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием.

— Чорт с ним! — загремел блондин, — чорт с ним. Машинистки, гей!

Он махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокс-трот. Кольша бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом-алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов.

Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, сшиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами. "Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа".

— Надевай! — грохнул блондин в тумане.

— И-и-и — тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондинова стола. Голове полегчало на минутку, и что-то лицо в слезах метнулось перед Коротковым.

— Валерьянки! — крикнул кто-то на потолке.

Крылатка, как черная птица, закрыла свет, старичок зашептал тревожно:

— Теперь одно спасение — к Дыркину в пятое отделение. Ходу! Ходу!

Запахло эфиром, потом руки нежно вынесли Короткова в полутемный коридор. Крылатка обняла Короткова и повлекла, шепча и хихикая: — Ну, я уж им удружил: такое подсыпал на столы, что каждому из них достанется не меньше пяти лет с поражением на поле сражения. Ходу! Ходу!

Крылатка порхнула в сторону, потянуло ветром и сыростью из сетки, уходящей в пропасть.

Х

Страшный Дыркин

Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое Коротковых упали вниз. Второго Короткова первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль. Очень толстый и розовый в цилиндре встретил Короткова словами:

— И чудесно. Вот я вас и арестую.

— Меня нельзя арестовать, — ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом, — потому что я неизвестно кто. Конечно. Ни арестовать, ни женить меня нельзя. А в Полтаву я не поеду.

Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрачки Короткову и стал оседать назад.

— Арестуй-ка, — пискнул Коротков и показад толстяку дрожащий бледный язык, пахнувший валерьянкой, — как ты арестуешь, ежели вместо документов — фига? Может быть, я Гогенцоллерн.

— Господи Иусе, — сказал толстяк, трясущейся рукой перекрестился и превратился из розового в желтого.

— Кальсонер не попадался? — отрывисто спросил Коротков и оглянулся. — Отвечай, толстун.

— Никак нет, — ответил толстяк, меняя розовую окраску на серенькую.

— Как же теперь быть? А?

— К Дыркину, не иначе, — пролепетал толстяк, — к нему самое лучшее. Только грозен. Ух, грозен! И не подходи. Двое уж от него сверху вылетели. Телефон сломал нынче.

— Ладно, — ответил Коротков и залихватски сплюнул, — нам теперь все равно. Подымай!

— Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный, — нежно сказал толстяк, подсаживая Короткова в лифт.

На верхней площадке попался маленький лет шестнадцати и страшно закричал:

— Куда ты? Стой!

— Не бей, дяденька, — сказал толстяк, съезжившись и закрыв голову руками, — к самому Дыркину.

— Проходи, — крикнул маленький.

Дьяволиада

Толстяк зашептал:

— Вы уж идите, ваше сиятельство, а я здесь на скамеечке вас подожду. Больно жутко...

Коротков попал в темную переднюю, а из нее в пустынный зал, в котором был распростерт голубой вытертый ковер.

Перед дверью с надписью "Дыркин" Коротков немного поколебался, но потом вошел и оказался в уютно обставленном кабинете с огромным малиновым столом и часами на стене. Маленький пухлый Дыркин вскочил на пружине из-за стола и, вздыбив усы, рывкнул.

— М—молчать!.. — хоть Коротков еще ровно ничего не сказал.

В ту же минуту в кабинете появился бледный юноша с портфелем. Лицо Дыркина мгновенно покрылось улыбовковыми морщинами.

— А-а! — вскричал он сладко, — Артур Артурыч. Наше вам.

— Слушай, Дыркин, — заговорил юноша металлическим голосом, — ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмеритурной кассе свою единоличную диктатуру и попер эмеритурные майские деньги? Ты? Отвечай, паршивая сволочь.

— Я?.. — забормотал Дыркин, колдовски превращаясь из грозного Дыркина в Дыркина добряка, — я, Артур Диктатурыч... Я, конечно... Вы это напрасно...

— Ах ты, мерзавец, мерзавец, — раздельно сказал юноша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул им Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку.

Коротков машинально охнул и застыл.

— То же будет и тебе, и всякому негодяю, который позволит себе совать нос в мои дела, — внушительно сказал юноша и, погрозив на прощание Короткову красным кулаком, вышел.

Минуты две в кабинете стояло молчание, и лишь подвески на канделябрах звякали от проехавшего где-то грузовика.

— Вот, молодой человек, — горько усмехнувшись, сказал добрый и униженный Дыркин, — вот и награда за усердие. Ночей не досыпаешь, не доедаешь, не допиваешь, а результат всегда один — по морде. Может быть, и вы с тем же пришли? Что ж... Бейте Дыркина, бейте. Морда у него,

Дьяволиада

видно, казенная. Может быть, вам рукой больно? Так вы канделябрик возьмите.

И Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-за письменного слола. Ничего не понимая, Коротков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он, крикнув: "караул", убежал через внутреннюю дверь.

— Ку-ку! — радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из нюрнбергского разрисованного домика на стене.

— Ку-клукс-кан! — закричала она и превратилась в лысую голову, — запишем, как вы работников лупите!

Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью "исходящий" и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль Дыркина: "лови его, разбойника!", и тяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать.

XI

Парфорское кино и бездна.

С площадки толстяк скакнул в кабину, забросился сетками и ухнул вниз, а по огромной, изгрызенной лестнице побежали в таком порядке: первым, черный цилиндр толстяка, за ним — белый исходящий петух, за петухом — канделябр, пролетевший в верхке над острой белой головкой, затем Коротков, шестнадцатилетний с револьвером в руке и еще какие-то люди, топчущие подкованными сапогами. Лестница застонала бронзовым звоном и тревожно захлопали двери на площадках.

Кто-то свесился с верхнего этажа вниз и крикнул в рупор:

— Какая секция проезжает? Несгораемую кассу забыли!

Дьяволиада

Женский голос внизу ответил:

— Бандиты!!

В огромные двери на улицу Коротков, обогнав цилиндр и канделябр, выскочил первым и, заглотив огромную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу. Белый петушок провалился сквозь землю, оставив серный запах, черная крылатка соткалась из воздуха и поплелась рядом с Коротковым с криком тонким и протяжным:

— Артельщиков бьют, товарищи!

По пути Короткова прохожие сворачивали в стороны и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие свистки. Кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загорались тревожные сильные крики: "Держи". С дробным грохотом опускались железные шторы, и какой-то хромой, сидя на трамвайной линии, визжал:

— Началось!

Выстрелы летели теперь за Коротковым частые, веселые, как елочные хлопушки, и пули жикали то сбоку, то сверху. Рычащий, как кузнечный мех, Коротков стремился к гиганту — одиннадцатизэтажному зданию, выходящему боком на улицу и фасадом в тесный переулок. На самом углу, — стеклянная вывеска с надписью "Restoran i pivo" треснула звездой, и пожилой извозчик пересел с козел на мостовую с томным выражением лица и словами:

— Здорово! Что ж вы, братцы, в кого попало, стало быть?..

Выбежавший из переулка человек сделал попытку ухватить Короткова за полу пиджака, и пола осталась у него в руках. Коротков завернул за угол, пролетел несколько сажений и вбежал в зеркальное пространство вестибюля. Мальчик в галунах и золоченых пуговках отскочил от лифта и заплакал.

— Садись, дядя. Садись! — проревел он, — только не бей сироту!

Коротков вонзился в коробку лифта, сел на зеленый диван напротив другого Короткова и задышал, как рыба на песке. Мальчишка, всхлипывая, влез за ним, закрыл дверь, ухватился за веревку, и лифт поехал вверх. И тотчас внизу, в вестибюле, загремели выстрелы и завертелись стеклянные двери.

Лифт мягко и тошно шел вверх, мальчишка, успокоившись, утирал нос одной рукой, а другой перебирал верев-

ку.

— Деньги покрад, дяденька? — с любопытством спросил он, всматриваясь в растерзанного Короткова.

— Кальсонера... атакуем... — задыхаясь отвечал Коротков, — да он в наступление перешел...

— Тебе, дяденька, лучше всего на самый верх, где бильярдные, — посоветовал мальчишка, — там на крыше отсидишься, если с маузером.

— Давай наверх... — согласился Коротков.

Через минуту лифт плавно остановился, мальчишка распахнул двери и, шмыгнув носом, сказал:

— Вылазь, дяденька, сьшь на крышу.

Коротков выпрыгнул, осмотрелся и прислушался. Снизу донесся нарастающий, поднимающийся гул, сбоку — стук костяных шаров через стеклянную перегородку, за которой мелькали встревоженные лица. Мальчишка шмыгнул в лифт, заперся и провалился вниз.

Орлиным взором окинув позицию, Коротков поколебался мгновение и с боевым кличем: "вперед!" вбежал в бильярдную. Замелькали зеленые площадки с лоснящимися белыми шарами и бледные лица. Снизу совсем близко бухнул в оглушительном эхо выстрел, и со звоном где-то посыпались стекла. Словно по сигналу, игроки побросали кии и гуськом, топоча, кинулись в боковые двери. Коротков, метнувшись, запер за ними дверь на крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, ведущую с лестницы в бильярдную, и в миг вооружился шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта выросла первая голова за стеклом. Шар вылетел из рук Короткова, со свистом прошел через стекло, и голова мгновенно исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь, и выросла вторая голова, за ней — третья. Шары полетели один за другим, и стекла полопались в перегородке. Перекаत्याющийся стук покрыл лестницу и в ответ ему, как оглушительная зингеровская швейка, завыл и затряс все здание пулемет. Стекла и рамы вырезало в верхней части, как ножом, и тучей пудры понеслась штукатурка по всей бильярдной.

Коротков понял, что позицию удержать нельзя. Разбежавшись, закрыв голову руками, он ударил ногами в третью стеклянную стену, за которой начиналась плоская асфальтированная кровля громады. Стена треснула и высypалась. Коротков под бушующим огнем успел выкинуть на кры-

Дьяволиада

шу пять пирамид, и они разбежались по асфальту, как отрубленные головы. Вслед за ними выскочил Коротков и очень во-время, потому что пулемет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы.

— Сдавайся! — смутно донеслось до него.

Перед Коротковым сразу открылось чудосочное солнце над самой головой, бледненькое небо, ветерок и промерзший асфальт. Снизу и снаружи город дал знать тревожным, смягченным гулом. Попрыгав на асфальте и оглянувшись, подхватив три шара, Коротков подскочил к парапету, влез на него и глянул вниз. Сердце его замерло. Открылись перед ним кровли домов, казавшиеся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой ползали трамваи, и жучки-народ, и тотчас Коротков разглядел серенькие фигурки, проплясавшие к подъезду по щели переулка, а за ними тяжелую игрушку, усеянную золотыми сияющими головками.

— Окружили! — ахнул Коротков, — пожарные.

Перегнувшись через парапет, он прицелился и пустил один за другим три шара. Они взвились, затем, описав дугу, ухнули вниз. Коротков подхватил еще одну тройку, опять влез и, размахнувшись, выпустили их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, снизившись, превратились в черные, потом опять засверкали и исчезли. Короткову показалось, что жучки забегали встревоженно на залитой солнцем площади. Коротков наклонился, чтобы подхватить еще порцию снарядов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском стекол в проломе бильярдной показались люди. Они сыпались, как горох, выскакивая на крышу. Вылетели серые фуражки, серые шинели, а через верхнее стекло, не касаясь земли, вылетел люстриновый старичок. Затем стена совсем распалась, и грозно выкатился на роликах страшный бритый Кальсонер со старинным мушкетером в руках.

— Сдавайся! — завывло спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас.

— Кончено, — слабо прокричал Коротков, — кончено. Бой проигран. Та-та-та! — запел он губами трубный отбой.

Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и балансируя, Коротков взобрался на столб парапета, покачнулся на нем, вытянулся во весь рост и крикнул:

— Лучше смерть, чем позор!

Дьяволиада

Преследователи были в двух шагах. Уже Коротков видел протянутые руки, уже выскочило пламя изо рта Кальсонера. Солнечная бездна поманила Короткова так, что у него захватило дух. С пронизительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. В миг перерезало ему дыхание. Неясно, очень неясно он видел, как серое с черными дырами, как от взрыва, взлетело мимо него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое упало вниз, а сам он поднялся вверх к узкой щели переулка, которая оказалась над ним. Затем кровавое солнце со звоном лопнуло у него в голове, и больше он ровно ничего не видал.

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

Рок.

неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные приемы, умели ли санитарные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Мадуге и Веронске, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом, в ^{смысле кур} Союзе республики было совершенно чисто. Кое где, в деревнях уездных городов, валялись куриные сиротливо перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах поправлялись последние каменные, деканчивал кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью на всю республику было не ^{оо} больше тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж на кур вызван никем иным, как комиссарами, но особенного успеха не имел. На Волоколамском базаре ~~забили~~ побили нескольких мясницко-ропор отнимающих кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. К счастью, ^{власти} расторопные волоколамские ^{протек} ^{превратили свои действия} приняли меры, в результате которых во ^{первых} бесплодно ^{хочет} ^{проник}, а во вторых стекла на телеграфе вставили.

Долга на севере до Архангельска и Сумкина Высолка, мор остановился сам собой, по той причине, что идти ему дальше было некуда - в Белом море куры, как известно, не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком юге пропал и затих где то в пустынных пространствах Ордубая, Дуульи и Карабулада, а на западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат что ли там был иной или сыграли роль санитарно-кормовые меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор ^{мучно} далеко не пошел. Заграничная пресса ^{мучно} единогласно осуждала несчастных в истории падежа, а правительство Советских республик, не поднимая ника-

Куррикулум витэ профессора Персикова

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного университета и директор зооинститута в Москве, Персиков, вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как и первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, т.е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил.

Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

”Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них”.

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухенькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором, как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда

Роковые яйца

он заявил Марье Степановне:

— Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел за исключением профессоров Ульяма Веккля в Кембридже и Джаакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил, как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11 с 1/4 и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской.

Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:

— Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному периоду коммунизма. Таким образом и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей и в особенности Суринамской жабы на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и калошах в коридоре выставяющего

Роковые яйца

института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

— Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр Пипа американа, длиной в 13 сантиметров...

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы, и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил 2 раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему "Пресмыкающиеся жаркого пояса". Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване, в комнате до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А летом Персиков при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь... В 23-м г. Персиков уже читал 8 раз в неделю — 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году 13 раз в неделю и кроме того на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 16 человек студентов и всех на голых гадах:

— Как, вы не знаете чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? — спрашивал Персиков. — Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Тэк-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

— Марксист, — угасая, отвечал зарезанный.

— Так вот, пожалуйста, осенью, — вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату: — давай следующего!

Подобно тому, как амфибии оживают после долгой

Роковые яйца

засухи, при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, 15 пятнадцатипятиэтажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919—1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил 2 1/2 тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препаративные столы, шары по 2.000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра: "Еще к вопросу о размножении бляшконосных или хитонов" 126 стр. "Известия IV Университета".

А в 1927, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский:

"Эмбриология пип, чесночниц и лягушек". Цена 3 руб. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное...

II

Цветной завиток

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе...

Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного Цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал:

— Владимир Ипатьевич, я установил брьжжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороге и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

— Очень хорошо, — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно что-то очень интересное можно было рассмотреть в брьжжейке лягушки, где как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но

непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:

— Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжко шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственные слова: "сволочи вы, вот что..."

Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных белых амеб, а посередине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков и сотни его учеников видели очень много раз и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг настоужился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность на горе республики сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах — это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже слышался голос профессора. У кого он спросил — неизвестно.

— Что такое? Ничего не понимаю...

Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидал.

Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор по-

кинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами.

— Но как же это так? Ведь, это же чудовищно!.. Это чудовищно, господа, — повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

— Угу, угу, — пробурчал он, — пропал. Понимаю. Понимаю, — протянул он сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой, — это просто.

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно, ослабил ся.

— Я его поймаю, — торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху — поймаю. Может быть и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце теперь было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел, и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец, за дверью послышалось урчанье как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна.

— Панкрат, — сказал профессор, глядя на него поверх очков, — извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял.

Роковые яйца

— У-у-у, по-по-понял, — ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.

— Нет, слушай, ты проснись, Панкрат, — молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. — Кабинет я запер, — продолжал Персиков, — так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

— Слушаю-с, — прохрипел Панкрат.

— Ну вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.

— Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал, — сказал ученый, — иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит чорт знает что такое!..

Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел. — Боже мой! Ведь даже нельзя представить себе всех последствий... — Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелою дверью. На крыльце он долго искал в карманах спичек, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту.

Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.

— Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тьфу, дурак, — профессор наклонился и задумался, глядя на разную обутые ноги, — гм... как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее, подлую, жалко. Придется в руках нести. — Он снял калошу и брезгливо понес ее.

На стареньком автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяненьких и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года.

— Эх, папаша! — крикнула она низким сиповатым

Роковые яйца

голосом, — что ж ты другую-то калошку пропил!

— Видно в Альказаре набрался старичок, — завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:

— Отец, что ночная на Волхонке открыта? Мы туда!

Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

III

Персиков поймал

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный глаз виртуоза.

В нем, — в луче, профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полтора часа под действием этого луча и получилось вот что: в то время, как в диске вне луча зернистые амебы валялись вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаяй и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову, как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение 2 секунд ста-

новилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амев, а, во-вторых, отличались какой-то особенной злобой и режвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амев, а в третий день он перешел к первоисточнику, т.е. к красному лучу.

Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папирсой, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.

— Да, — теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, неисследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это — получается ли он только от электричества или также от солнца, — бормотал Персиков самому себе.

И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

— Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм... ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света. — Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амев.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, чорт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно это чудовищно! Вы только посмотрите...

— Вы посмотрите, Владимир Ипатьич! — говорил Иванов, в ужасе приликая глазом к окуляру, — что делается?!

Роковые яйца

Они растут на моих глазах... Гляньте, гляньте...

— Я их наблюдаю уже третий день, — вдохновенно ответил Персиков.

Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

— Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами, — вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.

— О, это не важно... Впрочем, конечно...

И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время, как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии, после запроса через комиссариат просвещения Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояко-выпуклые, двояко-вогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.

1-го июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опытты эти дали потрясающие результаты. В течение 2-х суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже безо всякого луча вывели новое поколение и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось чорт знает что: головастики расплозились из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках, завывали зычные

Роковые яйца

хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова, как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что он шалее. Институт наполнился запахом эфира и цианистого кали, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не во-время снявший маску. Разросшееся болотное поколение, наконец, удалось перебить ядами, кабинеты проветрить.

Иванову Персиков сказал так:

— Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцо-клетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмэн, перебил профессора необычным тоном:

— Владимир Ипатьич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное, — видимо с большой потугой, но все же Иванов выдал из себя слова: — профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.

— Ну-ну-ну, — пробормотал он.

— Вы, — продолжал Иванов, — вы приобретете такое имя.. У меня кружится голова. Вы понимаете, — продолжал он страстно, — Владимир Ипатьич, герои Уэлса по сравнению с вами просто вздор... А я-то думал, что это сказки... Вы помните его "Пищу богов"?"

— А, это роман, — ответил Персиков.

— Ну да, господи, известный же!..

— Я забыл его, — ответил Персиков, — помню, читал, но забыл.

— Как же вы не помните, да вы гляньте, — Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение, — ведь это же чудовищно!

IV

Попадья Дроздова

Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому, что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь до половины июля, когда на 20-й странице газеты "Известия" под заголовком "Новости науки и техники" не появилась короткая заметка, трагтующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор IV университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была переврана и напечатано: "Певсиков".

Иванов принес газету и показал Персикову заметку.

— "Певсиков", — проворчал Персиков, взясь с камерой в кабинете, — откуда эти свистуны все знают?

Увы, перевранная фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.

Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атласную визитную карточку.

— Он тамотко, — робко прибавил Панкрат.

На карточке было напечатано изящным шрифтом:

Альфред Аркадьевич
Бронский

Сотрудник московских журналов — "Красный Огонек", "Красный Перец", "Красный Журнал", "Красный Прожектор" и газеты "Красная Вечерняя Москва".

— Гони его к чортовой матери, — монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся, вышел и через пять минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром

Роковые яйца

той же карточки.

— Ты что же, смеешься? — проскрипел Персиков и стал страшен.

— Из ГПЮ они говорят, — бледнея, ответил Панкрат.

Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком: "Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала "Красный Ворон", издания ГПУ".

— Позови-ка его сюда, — сказал Персиков и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладко-выбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блок-нот.

— Что вам надо? — спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь, — ведь вам же сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету и тотчас молодой человек поставил в блок-ноте знак.

— Я занят, — сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неувлимыми.

— Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор, — заговорил молодой человек тонким голосом, — что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.

— Какие такие объяснения по всему миру? — заныл Персиков визгливо и пожелтев, — я не обязан вам давать объяснения и ничего такого... Я занят... страшно занят.

Роковые яйца

— Над чем же вы работаете? — сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блок-ноте.

— Да я... вы что? Хотите напечатать что-то?

— Да, — ответил молодой человек и вдруг застрочил в блок-ноте.

— Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы... тем более в этих ваших газетах... Во-вторых, откуда вы все это знаете?.. — И Персиков вдруг почувствовал, что теряется.

— Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?

— Какой такой новой жизни? — остервенился профессор; — что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован и вообще ничего еще не известно! Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы...

— Во сколько раз? — торопливо спросил молодой человек.

Персиков окончательно потерялся... "Ну тип. Ведь это чорт знает что такое!"

— Что за обывательские вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..

В глазках молодого человека мелькнула хищная радость.

— Получаются гигантские организмы?

— Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных... Ну, имеют некоторые новые свойства... Но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения, — сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.

— Вы же не пишете! — уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков, — что вы такое пишете?

— Правда ли, что в течение двух суток из икры можно получить 2 миллиона головастиков?

— Из какого количества икры? — вновь взбеленясь, закричал Персиков, — вы видели когда-нибудь икринку... ну, скажем, — квакши?

— Из полуфунта? — не смущаясь, спросил молодой человек.

Персиков побагровел.

Роковые яйца

— Кто же так меряет? Тьфу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры... тогда пожалуй... чорт, ну около этого количества, а, может быть, и гораздо больше!

Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.

— Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?

— Что это за газетный вопрос, — завыл Персиков, — и вообще я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость!

— Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу, — молвил молодой человек и захлопнул блок-нот.

— Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет... И я занят... попрошу вас!..

— Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.

— Панкрат! — закричал профессор в бешенстве.

— Честь имею кланяться, — сказал молодой человек и пропал.

Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипение машины, кованое постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая, нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.

— Господин профессор, — начал незнакомец приятным сиповатым голосом, — простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.

— Вы репортер? — спросил Персиков, — Панкрат!!

— Никак нет, господин профессор, — ответил толстяк, — позвольте представиться — капитан дальнего плавания и сотрудник газеты "Вестник промышленности" при совете народных комиссаров.

— Панкрат!! — истерически закричал Персиков и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. — Панкрат! — повторил профессор, — я слушаю.

— Ферцайен зи битте, херр профессор, — захрипел

Роковые яйца

телефон по-немецки, — дас их штере. Их бин митарбайтер дес Берлинер Тагеблатс...

— Панкрат! — закричал в трубку профессор, — бин моменталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб етцт нихт емпфанген!.. Панкрат!!

А на парадном ходе института в это время начались звонки.

* *
*

— Кошмарное убийство на Бронной улице!! — завывали неестественные сильные голоса, вертясь в гуще огня между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой, — кошмарное появление болезни кур у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!

Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой и яростно ухватился за газету.

— 3 копейки гражданин! — закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: "Красная Вечерняя Газета", открытие икс-луча!!

Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами, с повисшей нижнею челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского, "В.И.Персиков, открывший загадочный красный луч", гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком "Мировая загадка" начиналась статья словами:

"Садитесь, — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков...".

Под статьей красовалась подпись "Альфред Бронский (Алонзо)".

Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на небе выскочили огненные слова "Говорящая Газета", и тотчас толпа запрудила Моховую.

"Садитесь!!! — завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского, — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего

Роковые яйца

открытия...”

Тихое механическое скрипение послышалось за спиной Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидел желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами, и губы вздрагивали.

— Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомиться с результатами вашего изумительного открытия, — сказал он печально и глубоко вздохнул. — Пропали мои полтора червячка.

Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.

— Я, — пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба, — никакого садитесь ему не говорил! Это просто наглец необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста, — но, право же, когда работаешь и врываются... Я не про вас, конечно, говорю...

— Может быть, вы мне, господин профессор, хотя описание вашей камеры дадите? — заискивающе и скорбно говорил механический человек, — ведь, вам теперь все равно...

— Из полуфунта икры в течение 3-х дней вылупляется такое количество головастика, что их нет никакой возможности сосчитать, — ревел невидимка в рупоре.

— Ту-ту, — глухо кричали автомобили на Моховой.

— Го-го-го... Ишь ты, го-го-го, — шуршала толпа, задирая головы.

— Каков мерзавец? А? — Дрожа от негодования зашипел Персиков механическому человеку, — как вам это нравится! Да, я жаловаться на него буду!

— Возмутительно! — согласился толстяк.

Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора, и все кругом вспыхнуло — фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица.

— Это вас, господин профессор, — восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора, как гиря. В воздухе что-то застрекотало.

— А ну их всех к чорту! — Тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы. — Эй, таксомотор. На Пречистенку!

Облупленная старенькая машина, конструкции 24-го

Роковые яйца

года заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.

— Вы мне мешаете, — шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.

— Читали?! Чего оруть?.. Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!.. — кричали кругом в толпе.

— Никаких у меня детишек нету, сукины дети, — заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами.

— Крх.. ту.. крх.. ту, — закричал таксомотор и врезался в гущу.

Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.

V

Куриная история

В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловке, Костромской губернии, Стекловского уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Карлорадековской улице, вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора Дроздова рыдала так громко, что вскорости из домика через улицу, в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула:

— Что ты, Степановна, али еще?

— Семнадцатая! — разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.

— Ахти-х-ти-х, — заскулила и закачала головой баба в платке, — ведь, это что ж такое? — Прогневался господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?

— Да ты глянь, глянь, Матрена, — бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжело, — ты глянь, что с ей!

Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи босые ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий двор.

Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия

Роковые яйца

Дроздова, скончавшегося в 26 году от антирелигиозных пропаганды, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрешка и вдовьяна глухая племянница. Налог со вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы, на пыльном двореке, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке, вдовьями яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего "Сыр и масло Чичкина в Москве".

И вот, семнадцатая по счету с утра брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору и ее рвало. "Эр... пр... урл... урл го-го-го", выделяла хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясал член артели Матрешка с чашкой воды.

— Хохлаточка, миленькая... цып-цып-цып... испей водицы, — умоляла Матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. Затем ее начало рвать кровью.

— Господисусе! — вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам, — это что же такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видала, с места не сойти, чтобы курица, как человек, маялась животом.

Это и были последние напутственные слова бедной хохлатке. Она вдруг кувырнула на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав чашку, и сама попадя — председатель артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала:

— Степановна, землю есть буду, что твоих кур испортили. Где ж это видано! Ведь, таких и курьих болезней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.

Роковые яйца

— Враги жизни моей! — воскликнула попадья к небу, — что же они со свету меня сжить хотят?

Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился и его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его устали к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в куриных домиках ему ответило беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.

— Ну, не порча? — победно спросила гостья, — зови отца Сергия, пушай служит.

В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненною рожею между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергей, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая заметил что-то насчет того, что вот, мол, господь прогневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался господь, но только не скажет.

Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадья Дроздовой, в курятнике издохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с наместа вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур вдовы, то они прикончились тотчас после молебна, и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудками закоченевшая птица.

На утро весь город встал, как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Персональной ул. к полудню осталось в живых только три курицы в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и

Роковые яйца

по нем катилось грозное слово "мор". Фамилия Дроздовой попала в местную газету "Красный Боец" в статье под заголовком: "Неужели куриная чума?", а оттуда пронеслась в Москву.

* *
*

Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черной надписью "Рабочая газета". Он, профессор, дробясь и зеленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаком от фиолетового луча. Засим выскочила огненная надпись: "Профессор Персиков, едуци в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову". И точно: мимо храма Христа, по Волохонке, проскочил зыбкий автомобиль и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была, как у затравленного волка.

— Это какие-то черти, а не люди, — сквозь зубы проормотал зоолог и проехал.

Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степановны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидел приписку: "Народный комиссар здравоохранения".

— Что такое? — искренно недоумевал ученый чудак, — что с ними такое сделалось?

В 10 1/4 того же вечера раздался звонок и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор, благодаря визитной карточке, на которой было изображено (без

имени и фамилии): "Полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике советов".

— Чорт бы его взял, — прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне:

— Позовите его сюда, в кабинет, этого самого уполномоченного. — Чем могу служить? — спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями, и в правом глазу у него сидел монокль. "Какая гнусная рожа", почему-то подумал Персиков.

Начал гость издалека, именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большой неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно: "но... господина профессора невозможно днем никак поймать... хи-хи... пардон... застать" (гость, смеясь, всхлипывал, как гиена).

— Да, я занят! — Так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю.

Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого: — время — деньги, как говорится... сигара не мешает профессору?

— Мур-мур-мур, — ответил Персиков. Он позволил...

— Профессор, — ведь, открыл луч жизни?

— Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! — оживился Персиков.

— Ах, нет, хи-хи-хэ... он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых... о чем же говорить... Сегодня есть телеграммы... В мировых городах, как-то: Варшаве и Риге уже все известно насчет луча. Имя проф. Персикова повторяет весь мир... Весь мир следит за работой проф. Персикова, затаив дыхание... Но всем прекрасно известно, как тяжело положение ученых в советской России. Антр ну суа ди... Здесь никого нет посторонних?.. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот он хотел бы переговорить с профессором... Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстно помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в священном писании. Государству

Роковые яйца

известно, как тяжело профессору пришлось в 19-м и в 20-м году во время этой хи-хи... революции. Ну, конечно, строгая тайна... профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры...

И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек...

Какой-нибудь пустяк, 5.000 рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту... и расписки не надо... профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке.

— Вон!!! — вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах.

Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинация.

— Его калоши?! — выл через минуту Персиков в передней.

— Они забыли, — отвечала дрожащая Марья Степановна.

— Выкинуть их вон!

— Куда же я их выкину. Они придут за ними.

— Сдать их в домовый комитет. Под расписку. Чтоб не было духу этих калош! В комитет! Пусть примут шпионские калоши!..

Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные кожаные колоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.

— Сдали? — бушевал Персиков

— Сдала.

— Расписку мне.

— Да, Владимир Ипатьич. Да неграмотный же председатель!..

— Сию. Секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!

Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через 1/4 часа с запиской:

”Получено в фонд от проф. Персикова 1 (одна) па кало. Колесов”.

— А это что?

— Жетон-с.

Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него: "все ли благополучно?" Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое:

— Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси... Кому тут из вас надо сказать... у меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят, да... Профессор IV университета Персиков...

Трубка вдруг резко оборвала разговор, Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.

— Чай будете пить, Владимир Ипатьич? — робко осведомилась Мария Степановна, заглянув в кабинет.

— Не буду я пить никакого чаю... мур-мур-мур, и чорт их всех возьми... как взбесились, все равно.

Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как хрустальная бабочка, пенснэ. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повел себя особенно, он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенснэ.

Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, спрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя.

— Да чорт его знает, — бубнил Персиков, — ну противная физиономия. Дегенерат.

— А глаз у него не стеклянный? — спросил маленький хрипло.

— А чорт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза.

— Рубинштейн? — вопросительно и тихо отнесся ангел к

штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.

— Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем случае, — забурчал он, — это не рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее.

История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов: "Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами", и Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках.

— Васенька! — негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и словно развинченный плелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно проглотили его глаза.

— Ну? — спросил он лаконически и сонно.

— Калоши.

Дымные глаза скользнули по калошам и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно мгновение, сверкнули вовсе не сонные, а наоборот изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли.

— Ну, Васенька?

Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом:

— Ну, что тут ну. Пеленжковского калоши.

Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору... (сотрудничество и тесное содружество ученой интеллигенции с властью крайне желательно...) Профессор может быть спокоен... больше его никто не потревожит, ни в институте, ни дома... меры будут приняты, камеры его в совершеннейшей безопасности...

— А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? — спросил Персиков, глядя поверх очков.

Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил... что покагм... конечно, это было б хорошо... о, видите ли, все-таки пресса... хотя впрочем, такой проект уже назревает в Сове-

Совете труда и обороны...честь имеем кланяться.

— А что это за каналья у меня была?

Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания... тем не менее он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.

Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку:

— Я вам советую лечиться у профессора Россолимо...— и получил второй звонок.

Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли Валькирий, — радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он будет судиться с директором, что он ломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чортовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.

Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института кроме растерянного Панкрата навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал:

— Здравствуйте, гражданин профессор.

— Что вам надо? — страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептал, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно

затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей... что профессор может быть спокоен, не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.

— Гм... однако, у вас здорово поставлено дело, — промычал Персиков и прибавил наивно, — а что вы здесь будете есть?

На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять.

Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уж Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.

— Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией, — неслось из кабинета.

— Строг? — спрашивал котелок у Панкрата.

— У, — не приведи бог, — отвечал Панкрат, — ежели какой-нибудь и выдержит, выходит, голубчик, из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в пивную.

За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертые его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.

— Владимир Ипатьич! — прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло: Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле. Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством он выглянул в окно и увидел на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блок-ноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.

— Ах, это вы? — спросил профессор. У него не хватило сил рассердиться и даже любопытно показалось, что такое будет дальше? Прикрытый окном он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный котелок на улице немедленно повернул ухо к Бронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице.

— Пару минуточек, дорогой профессор, — заговорил

Роковые яйца

Бронский, напрягая голос с тротуара, — я только один вопросик и чисто зоологический. Позвольте предложить?

— Предложите, — лаконически и иронически ответил Персиков и подумал: "все-таки в этом мерзавце есть что-то американское".

— Что вы скажете за кур, дорогой профессор? — крикнул Бронский, сложив руки щитком.

Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:

— Панкрат,пусти этого с тротуара.

Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рявкнул ему: — садитесь!

И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.

— Объясните мне, пожалуйста, — заговорил Персиков, — вы пишете там, в этих ваших газетах?

— Точно так, — почтительно ответил Альфред.

— И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за "пара минуток", и "за кур"? Вы, вероятно, хотели спросить "насчет кур"?

Бронский жидко и почтительно рассмеялся:

— Валентин Петрович исправляет.

— Кто это такой Валентин Петрович?

— Заведующий литературной частью.

— Ну ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?

— Вообще все, что вы скажете, профессор.

Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.

— Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, в 1-м университете. Я лично знаю весьма мало...

Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. "Шутка — мало!" черкнул он в блок-ноте.

— Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры или гребенчатые... род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых... — заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского, а куда-то в даль, где перед ним подразумевались

тысяча человек... — из семейства фазановых... фазианидэ. Представляют собой птиц с мясисто кожным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью... гм... хотя впрочем бывает и одна в середине подбородка... Ну, что ж еще. Крылья короткие и округленные... Хвост средней длины, несколько ступеньчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья серпообразно изогнуты... Панкрат... принеси из модельного кабинета модель №705, разрезной петух... впрочем, вам это не нужно?.. Панкрат, не приноси модели... Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно 6 видов дико живущих кур... гм... Португалов знает больше... в Индии и на Малайском архипелаге. Например, Банкивский петух или Казингу, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме... Вилохвостый петух или Галлус Вариус на Ломбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яве имеется замечательный петух Галлус Энеус, на юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого Зоннератова петуха... Я вам потом покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стенли, больше он нигде не водится.

Бронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.

— Еще что-нибудь вам сообщить?

— Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней, — тихонечко шепнул Альфред.

— Гм, не специалист я... вы Португалова спросите... А впрочем... Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек... Пневмококк, туберкулез, куриные парши... мало ли, что может быть... (искры прыгали в глазах Персикова)... отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахорион Шенляйни... очень интересная болезнь. При заболевании им на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень...

Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком.

— А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?

— Какой катастрофы?

— Как, разве вы не читали, профессор? — удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты

Роковые яйца

“Известия”.

— Я не читаю газет, — ответил Персиков и насупился.

— Но почему же, профессор? — нежно спросил Альфред.

— Потому что они чепуху какую-то пишут, — не задумываясь, ответил Персиков.

— Но как же, профессор? — мягко шепнул Бронский и развернул лист.

— Что такое? — спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым, лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты: “Куриный мор в республике”.

— Как? — спросил Персиков, сдвигая на лоб очки...

VI

Москва в июне 1928 года

Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На Театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев; над бывшим Мюр и Мерилизом, над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: “рабочий кредит”. В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толкалась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал.

— Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество... куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое...

Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя и рупор жаловался басом:

— Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриною чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова... и товарища Рабиновича!.. Новые попытки интервенции!.. — хохотал и плакал, как шакал, рупор, — в связи с куриною чумой!

Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали

Роковые яйца

белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами:

"Под угрозой тягчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции".

На крыше "Рабочей газеты" на экране грудой до самого неба лежали куры и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакивала огненная надпись: "Сожжение куриных трупов на Ходынке".

Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: "Яичная торговля. За качество гарантия". Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые автобусы, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: "Мосздравотдел, Скорая помощь".

— Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами, — шуршали в толпе.

В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан "Ампир" и в нем на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров: "По распоряжению — омлета нет. Получены свежие устрицы".

В Эрмитаже, где бусинками горели китайские фонарики в неживой, задушенной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым.

Ах, мама, что я буду делать
Без яиц??.

и грохотали ногами в чечотке.

Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погиб-

шего, как известно, в 1927 году, при постановке Пушкинского "Бориса Годунова", когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга "Курий дох" в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в Аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева "Курицыны дети". А по Тверской, с фонариками по бокам морд, шли вереницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты. В театре Корш возобновляется "Шантеклэр" Ростана.

Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов:

— Кошмарная находка в подземельи! Польша готовится к кошмарной войне!! Кошмарные опыты профессора Персикова!!

В цирке бывшего Никитина, на приятно-пахнущей навозом коричневой жирной арене мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:

— Я знаю, отчего ты такой печальный!

— Отциво? — пискливо спрашивал Бим.

— Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла.

— Га-га-га-га, — смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.

— А-ап! — пронзительно кричали клоуны, и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.

Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие и нежные зазывания проститутки, пробирался по Моховой, вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданной славой Персиков к огненным часам у манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, пребольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе.

— Ах, черт! — пискнул Персиков. — извините.

— Извиняюсь, — ответил встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.

VI

Рокк

Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умелы ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах поправлялись последние из жадных, доканчивая кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявлялся было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж кур вызван ни кем иным, как комиссарами, но особенного успеха не имел. На Волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопное волоколамское гепеу приняло меры, в результате которых, во-первых, бесследно исчез пророк, а во-вторых, стекла на телеграфе вставили.

Дойдя на Севере до Архангельска и Сюмкина Выселка, мор остановился сам собой по той причине, что итти ему дальше было некуда, — в Белом море куры, как известно, не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком Юге — пропал и затих где-то в выжженных пространствах Ордубата, Джульфы и Карабулака, а на Западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат,

что ли, там был иной или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор дальше не пошел. Заграничная пресса шумно, жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой, в составе шестнадцати товарищей. Был основан "Доброкур", почетными товарищами председателя в который вошли Персикив и Португалов. В газетах под их портретами появились заголовки: "Массовая закупка яиц за границей" и "Господин Юз хочет сорвать яичную кампанию". Прогрел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами: "Не зарьтесь, господин Юз, на наши яйца, — у вас есть свои!"

Профессор Персикив совершенно измучился и заработался в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартмом анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы, и даже в течение трех вечеров на скорую руку написать брошюру: "Об изменениях печени у кур при чуме".

Работал Персикив без особого жара в куриной области, да оно и понятно, — вся его голова была полна другим — основным и важным — тем, от чего его оторвала его куриная катастрофа, т.е. от красного луча. Расстраивая свое и без того надломленное здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистенку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персикив ночи напролет возился у камеры и микроскопа.

К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персикив вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами, в камере под лучом зрела со сказочной быстротою рыба и лягушачья икра. Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла

и в последних числах июля, под наблюдением Иванова, механики соорудили две новых больших камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе — целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего, он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующего отделом животноводства при верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахи самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаха сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела и важный и ласковый голос спросил, не нужен ли Персикову автомобиль?

— Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае, — ответил Персиков.

— Но почему же? — спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся.

С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хоть и крупному ребенку.

— Он быстрее ходит, — ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил:

— Ну, как хотите.

Прошла еще неделя, при чем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте. Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжело дыша и серея, на блюде, влажная лягушка величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе

Роковые яйца

их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду председатель Цекубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле и Персикову стало смутно, тошновато... Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее... И дрожащею рукой схватился профессор за перила.

— Вам нехорошо, Владимир Ипатьич? — набросились со всех сторон встревоженные голоса.

— Нет, нет, — ответил Персиков, оправляясь, — просто я переутомился... да... Позвольте мне стакан воды.

* * *

Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча.

В дверь постучали.

— Ну? — спросил Персиков.

Дверь мягко скрипнула и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнея от страха перед божеством, сказал так:

— Там до вас, господин профессор, Рокк пришел.

Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил:

— Это интересно. Только я занят.

— Они говорят, что с казенной бумагой с Кремля.

— Рок с бумагой? Редкое сочетание, — вымолвил Пер-

Роковые яйца

сиков и добавил: — Ну-ка, дай-ка его сюда!

— Слушаю-с, — ответил Панкрат и как уж исчез за дверью.

Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и устался в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни — он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был странно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году, он был странен. В то время, как наиболее даже отставшая часть пролетариата — пекаря — ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч — старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штилеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет маузер в желтой битой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех — крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо иссиня-бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно прохрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил:

— Вы с бумагой? Где же она?

Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он увидел. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкаф в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странен и величественен в винтовом кресле. Пришелец впери в него взгляд, в котором явно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а сказал:

— Я Александр Семенович Рокк!

— Ну-с! Так что?

— Я назначен заведующим показательным совхозом "Красный луч", — пояснил пришлый.

Роковые яйца

— Ну-с?

— И вот к вам, товарищ, с секретным отношением.

— Интересно было бы узнать. Покороче, если можно.

От слова "товарищ" Персиков настолько отвык, что сейчас оно резнуло ему ухо. Он явно раздражился.

Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову. А затем без приглашения сел на винтающийся табурет.

— Не толкните стол, — с ненавистью сказал Персиков.

Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сыром темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.

Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения:

— Простите... Я не могу понять... Как же так? Я... без моего согласия, совета... Да, ведь, он чорт знает что надевает!!.

Тут незнакомец, повернулся крайне обиженно на табурете.

— Извиняюсь, — начал он, — я завед...

Но Персиков махнул на него крючком и продолжал:

— Извините, я не могу понять... Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами... Пока я сам не попробую их...

Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке, снисходительный, говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену сказал:

— Я умываю руки.

Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал еще раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки, и вдруг взвыл:

— Панкрат!

Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков глянул на него и рывкнул:

— Выйди вон, Панкрат!

И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез.

Затем Персиков повернулся к пришельцу и загово-

Роковые яйца

рил:

— Извольте-с... Повинуюсь. Не мое дело. Да мне и не интересно.

Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил.

— Извиняюсь, — начал он, — вы же, товарищ?..

— Что вы все товарищ да товарищ... — хмуро пробубнил Персиков и смолк.

— "Однако", — написалось на лице у Рокка.

— Изви...

— Так вот-с, пожалуйста, — перебил его Персиков. — Вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра, — Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат, — пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов, вот № 1... и зеркало № 2, — Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры, — а на полу в луче вы можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?

Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазами всматриваясь в камеру.

— Только предупреждаю, — продолжал Персиков, — руки не следует совать в луч, потому что по моим наблюдениям он вызывает разрастание эпителия... а злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить.

Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на руки профессора. Они были насквозь прожжены иодом, а правая у кисти забинтована.

— А как же вы профессор?

— Можете купить резиновые перчатки у Швабе на Кузнецком, — раздраженно ответил профессор. — Я не обязан об этом заботиться.

Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу:

— Откуда вы взялись? Вообще... почему вы?..

Рокк, наконец, обиделся сильно.

— Извин...

— Ведь, нужно же знать в чем дело!... Почему вы уцепились за этот луч?..

— Потому, что это государственной важности дело...

— Ага. Государственной? Тогда... Панкрат!

И когда Панкрат появился:

— Погоди, я подумаю.

И Панкрат покорно исчез.

— Я, — говорил Персиков, — не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?

— Вы, профессор, меня уже сбили спанталыку, — ответил Рокк, — вы же знаете, что куры все издохли до единой.

— Ну так что из этого? — завопил Персиков, — что же вы хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще неизученного луча?

— Товарищ профессор, — ответил Рокк, — вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что государству необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.

— И пусть себе пишут...

— Ну, знаете, — загадочно ответил Рокк и покрутил головой.

— Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц...

— Мне, — ответил Рокк...

— Угу... Тэк-с... А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?

— Я, профессор, был на вашем докладе.

— Я с яйцами еще ничего не делал!.. Только собираюсь!

— Ей-богу, выйдет, — убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк, — ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят.

— Знаете что, — молвил Персиков, — вы не зоолог? нет? жаль... из вас вышел бы очень смелый экспериментатор... Да... только вы рискуете... получить неудачу... и только у меня отнимаете время...

— Мы вам вернем камеры. Что значит?

— Когда?

— Да, вот, я выведу первую партию.

— Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Панкрат!

— У меня есть с собой люди, — сказал Рокк, — и охрана...

К вечеру кабинет Персикова осиротел... Опустили столы. Люди Рокка увезли три больших камеры, оставив про-

фессору только первую, его маленькую, с которой он начал опыты.

Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги — это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям... Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собрался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.

В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидел странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.

— Вот, Панкрат, — сказал Персиков и указал на опустевший стол.

Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно.

— Так точно, — плаксиво ответил Панкрат и подумал: "Лучше бы ты уж наорал на меня!"

— Вот, — повторил Персиков и губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того, ни с сего любимую игрушку.

— Ты знаешь, дорогой Панкрат, — продолжал Персиков, отворачиваясь к окну, — жена-то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла оказывается... Вот история, Панкрат милый... Мне письмо прислали...

Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она... ночь. Москва... где-то какие-то белые шары за окнами загорались... Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от страху руки по швам...

— Иди, Панкрат, — тяжело вымолвил профессор и махнул рукой, — ложись спать, миленький, голубчик, Панкрат.

И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку рус-

Роковые яйца

ской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повесели.

Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупо освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубахой.

— Лучше б убил, ей бо...

— Неужто плакал? — с любопытством спрашивал котелок.

— Ей... бо... — уверял Панкрат.

— Великий ученый, — согласился котелок, — известно, лягушка жены не заменит.

— Никак, — согласился Панкрат.

Потом подумал и добавил:

— Я свою бабу подумываю выписать сюды... чего ей в самом деле в деревне сидеть. Только она гадов этих не выносит ничем...

— Что говорить, пакость ужаснейшая, — согласился котелок.

Из кабинета ученого неслышно было ни звука. Да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.

VIII

История в совхозе

Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем... Яблоки в бывшем имении Шереметевых зрели... леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля... Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уж неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем не было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрели.

Роковые яйца

Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой:

Совхоз "Красный Луч"

и прямо к автомобилю полугрузовичку, привезшему три черных камеры под охраной.

Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду — оранжерее Шереметевых... К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый, матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч.

Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода.

На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичек и выплюнул три ящика, великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями:

— Vorsicht: Eier!!

— Осторожно: яйца!!

— Что же так мало прислали? — удивился Александр Семенович, однако, тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее и принимали в нем участие: сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена, Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распрягался, любовно поглядывая на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком, под нежным закатным светом верхних стекол оранжереи. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск... Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков.

— Вы потише, пожалуйста, — говорил он охранителю. — Осторожнее. Что ж вы не видите — яйца?..

— Ничего, — хрипел уездный воин, буравя, — сейчас...

Тр-р-р... и сыпалась пыль.

Роковые яйца

Яйца оказались упакованными превосходно: под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки и в них замелькали белые головки яиц.

— Заграничной упаковочки, — любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках, — это вам не то, что у нас. — Маня, осторожнее, ты их побьешь.

— Ты, Александр Семенович, сдурел, — отвечала жена, — какое золото, подумаешь. Что я никогда яиц не видала? Ой!.. какие большие!

— Заграница, — говорил Александр Семенович, — выкладывая яйца на деревянный стол, — разве это наши мужицкие яйца... Все вероятно брамапутры, чорт их возьми! немецкие...

— Известное дело, — подтверждал охранитель, любуясь яйцами.

— Только не понимаю, чего они грязные, — говорил задумчиво Александр Семенович... — Маня, ты присматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на телефон.

И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.

Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взерошил волосы и подошел к аппарату.

— Ну? — спросил он.

— С вами сейчас будет говорить провинция, — тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом.

— Ну. Слушаю, — брезгливо спросил Персиков в черненький рот телефона... В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно:

— Мыть ли яйца, профессор?

— Что такое? Что? Что вы спрашиваете? — раздражился Персиков, — откуда говорят?

— Из Никольского, Смоленской губернии, — ответила трубка.

— Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?

— Рокк, — сурово сказала трубка.

— Какой Рокк? — Ах, да... это вы... так вы что спрашиваете?

— Мыть ли их?... прислали из-за границы мне партию курьих яиц...

Роковые яйца

— Ну?

— ... А они в грязюке в какой-то...

— Что-то вы путаете... Как они могут быть в "грязюке", как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть немного... помет присох... или что-нибудь еще...

— Так не мыть?

— Конечно, не нужно... Вы, что, хотите уже заряжать яйцами камеры?

— Заряжаю. Да. — Ответила трубка.

— Гм, — хмыкнул Персиков.

— Пока, — цокнула трубка и стихла.

— "Пока", — с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову, — как вам нравится этот тип, Петр Степанович?

Иванов рассмеялся.

— Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц.

— Д... д... д... — заговорил Персиков злобно, — вы вообразите, Петр Степанович... ну, прекрасно... очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но, ведь, ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут... может быть, они ни к черту негодные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах. Может быть, у них кости ломкие. — Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.

— Совершенно верно, — согласился Иванов.

— Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур. Догонит их до величины собаки, а потомства от них жди потом до второго пришествия.

— Нельзя поручиться, — согласился Иванов.

— И какая развязность, — расстраивал сам себя Персиков, — бойкость какая-то! И, ведь, заметьте, что этого прохвоста мне же поручено инструктировать. — Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком (она валялась на экспериментальном столе) ... а как я его буду этого невежду инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу.

— А отказаться нельзя было? — спросил Иванов.

Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Ива-

Роковые яйца

нову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.

— М-да... — сказал он многозначительно.

— И, ведь, заметьте... Я своего заказа жду два месяца и о нем ни слуху, ни духу. А этому моментально и яйца прислали и вообще всяческое содействие...

— Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьич. И просто кончится тем, что вернут вам камеры.

— Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают.

— Да вот это скверно. У меня все готово.

— Вы скафандры получили?

— Да, сегодня.

Персигов несколько успокоился и оживился.

— Угу... я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем...

— Конечно, — согласился Иванов.

— Три шлема?

— Три. Да.

— Ну вот-с... Вы, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем.

— Гринмута можно.

— Это который у вас сейчас над саламандрами работает?.. гм... он ничего... хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых, — злопамятно добавил Персигов.

— Нет, он ничего... Он хороший студент, — заступился Иванов.

— Придется уж не поспать одну ночь, — продолжал Персигов, — только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то чорт их знает, эти добродетели ихние. Пришлют какую-нибудь гадость.

— Нет, нет, — и Иванов замахал руками, — вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьич, превосходный газ.

— Вы на ком пробовали?

— На обыкновенных жабах. Пустишь струйку — мгновенно умирают. Да, Владимир Ипатьич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение в Гепеу, что бы вам прислали электрический револьвер.

— Да я не умею с ним обращаться...

— Я на себя беру, — ответил Иванов, — мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради... там один гепеур рядом

Роковые яйца

со мной жил... Замечательная штука. И просто чрезвычайно... Бьет бесшумно, шагов на сто и напоял. Мы в ворон стреляли... По-моему даже и газа не нужно.

— Гм... — это остроумная идея... Очень, — Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул...

— Дайте-ка мне эту, как ее... Лубянку...

* *
*

Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями видно было ясно, как переливался прозрачный, жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее имение Шереметевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды стали двухцветными пополам — косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать "Известия", за исключением шахматного отдела, набранного мелкой непарелью. Но в такие ночи никто "Известия", понятное дело, не читал... Дуня уборщица оказалась в роще за совхозом, и там же оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер потрепанного совхозского полугрузовичка. Что они там делали — неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разостланном кожаном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу-луну.

В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Выразить немислимо, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами Шереметевского дворца. Хрупкая Лиза из "Тиковой дамы" смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима.

Угасают... Угасают...

свистала, переливая и вздыхая, флейта.

Роковые яйца

Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.

— А хорошо дудит, сукин сын, — сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.

Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле maestro Петухова, ежевечерно оглашающем стройными звуками фойэ уютного кинематографа "Волшебные грезы" в городе Одессе. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул "Волшебные грезы" и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойэ "Грез" ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний 1927 и начало 28-го застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную политиколитературную газету, а засим, как местный член высшей коммунально-хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению туркестанского края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той высокой организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, оценила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы! На горе республике кипучий мозг Александра Семеновича не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением Персикова, и в номерах на Тверской "Красной Париж" родилась у Александра Семеновича идея как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Кремль принял Семена Борисовича. Кремль согласился с ним, и Рокк пришел с плотной бумагой к чудаку зоологу.

Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое

Роковые яйца

прервало его раньше времени. Именно, в Концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительнейший вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновение, будто померкла таинственная колдовская ночь.

Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду.

— Маня. Ты слышишь? Вот проклятые собаки... Чего они, как ты думаешь, разбесились?

— Откуда я знаю? — ответила Маня, глядя на луну.

— Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички, — предложил Александр Семенович.

— Ей богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко!

— Нет, Манечка, пойдем.

В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца, в камерах было беззвучно... а шар вверху в 15.000 свечей тихо шипел...

— Эх, выведу я цыпляток республике! — с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то с боку в контрольные прорезы, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия, — вот увидите... Что? Не выведу?

— А вы знаете, Александр Семенович, — сказала Дуня, улыбаясь, — мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели.

Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.

— Ну, что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сделаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им собрание сделать... Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать... А то это медвежий какой-то угол...

— Темнота, — молвил охранитель, расположившийся

Роковые яйца

на своей шинели у двери оранжереи.

Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми. словно перед грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок и в особенности потому, что со слов дяди, по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из Концовки, стало известно, что, якобы, все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с комитетом в г. Грачевке. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы — международное положение и вопрос о Доброкуре.

Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно неприятна тишина среди деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозовского двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметеве. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать и толковать самым неприятным образом, т.е. за спиной Александра Семеновича.

— Действительно это странно, — сказал за обедом Александр Семенович жене, — я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?

— Откуда я знаю? — ответила Маня. — Может быть от твоего луча?

— Ну ты, Маня, обыкновеннейшая дура, — ответил Александр Семенович, бросив ложку, — ты — как мужики. При чем здесь луч?

— А я не знаю. Оставь меня в покое.

Вечером произошел третий сюрприз — опять взвыли собаки в Концовке и, ведь, как! Над лунными полями стоял

Роковые яйца

непрерывный стон, злобные тоскливые стенания.

Вознаградил себя несколько Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться беспрерывный стук в красных яйцах. Токи... токи... токи... токи... стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце.

Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжерее: и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.

— Ну, что? Что вы скажете? — Победоносно спрашивал Александр Семенович. — Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры, — это они клювами стучат, цыплятки, — продолжал, сияя Александр Семенович. — Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие мои. — И от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу. — Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть, — строго добавил он. — Чуть только начнут вылупливаться, сейчас же мне дать знать.

— Хорошо, — хором ответили сторож, Дуня и охранитель.

Таки... таки... таки... закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечивающей коже была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых пустых ящиках, глядя как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно потому, что нарушал ее полное молчание то-и-дело начинающийся беспричинный тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего бесились проклятые псы — совершенно неизвестно.

На утро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.

— Непонятное дело, — уверял охранитель, — я тут не причinen, товарищ Рокк.

— Спасибо вам, и от души благодарен, — распекал его

Роковые яйца

Александр Семенович, — что вы, товарищ, думаете? Вас зачем приставили? Смотреть. Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь, вылупились они? Значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой да и ушли себе сами. Чтоб были мне цыплята!

— Некуда мне ходить. Что я своего дела не знаю, — обиделся наконец воин, — что вы меня попрекаете даром, товарищ Рокк!

— Куды ж они подевались?

— Да я почему знаю, — взбесился наконец воин, — что я их укараулю разве? Я зачем приставлен. Смотреть, чтобы камеры никто не упер, я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся, может, их на велосипеде не догонишь!

Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными. И одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу, в луче.

— Черт их знает, — бормотал Александр Семенович, — окна заперты, не через крышу же они улетели!

Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.

— Что вы, Александр Семенович, — крайне удивилась Дуня, — станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь... цып... цып... цып... — начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отыпались.

Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем и тому был дан строжайший приказ, каждые четверть часа заглядывать в окна камер, и чуть что, звать Александра Семеновича. Охранитель сидел насупившись у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу дня пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей оттоманке Шереметева, на-

Роковые яйца

пился совхозовского сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Старик-сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей.

Но были и новости: яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как будто внутри их кто-то всхлипывал.

— Ух, зреют, — сказал Александр Семенович, вот это зреют, теперь вижу. Видал? — отнесся он к сторожу...

— Да, дело замечательное, — ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном.

Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылутился, он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдет на пруд выкупаться и, чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две узких пружинных кровати со скомканным бельем, и на полу была навалена груда зеленых яблоков и горы проса, приготовленного для будущих выводков, вооружился мохнатым полотенцем, а, подумав, захватил с собой и флейту, с тем, чтобы на досуге поиграть над водной гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рокка началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршание, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился и к нему присоединилось короткое сипение, как-будто выскользилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли.

— Александр Семенович, — прозвучал в этот момент

голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась, но опять — мелькнула в малиннике. — Подожди, я тоже пойду купаться.

Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву... Затем верх бревна надломился, немного склонился и над Александром Семеновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба, и гораздо красивее его, благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул на верх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны.

На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрался в лопухи, и только одни глаза остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями.

— Что это за штуки...

Затем ему вспомнилось, что факиры... да... да... Индия... плетеная корзинка и картинка... Заклинают.

Голова вновь взвилась и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из "Евгения Онегина". Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримой ненавистью к этой опере.

— Что ты одурел, что играешь на жаре? — послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.

Роковые яйца

Затем истошный визг пронзил весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка, на дороге. Рокк видел совершенно отчетливо: Маня стала желто-белой и ее длинные волосы как провололочные поднялись на поларшина над головой. Змея на глазах Рокка, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо, так что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч, и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рокк слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Из рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался, наконец, от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать...

IX

Живая каша

Агент государственного политического управления на станции Дугино, Шукин был очень храбрым человеком. Он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Полайтису:

— Ну, что ж, поедем. А? Давай мотоцикл, — потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: — флейту-то положите.

Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Шукин и Полайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Шукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол.

Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.

— Вы поедете с нами, — сказал Шукин, обращаясь к Александру Семеновичу, — покажете нам где и что. Но Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения.

— Нужно показать, — добавил сурово Полайтис.

— Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.

— Отправьте меня в Москву, — плача, попросил Александр Семенович.

— Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?

Но Рокк вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз.

— Ну, ладно, — решил Шукин, — вы действительно не в силах... Я вижу. Сейчас курьерский пойдет, с ним и поезжайте.

Затем у Шукина с Полайтисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой, и тот лягал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание. Полайтис полагал, что вообще ничего этого не было, а просто-напросто Рокк душевно-больной, и у него была страшная галлюцинация. Шукин же склонился к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролировал цирк, убежал удав-констриктор. Услыхав их

Роковые яйца

сомневающийся шопот, Рокк привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк:

— Слушайте меня. Слушайте. Что же вы не верите? Она была. Где же моя жена?

Шукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Шукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Шукин же с Полайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это уже была хорошенькая защита. Пятидесятизарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, была всего на сто шагов, но давала поле 2 метра в диаметре и в этом поле все живое убивала наповал. Промажнуться было очень трудно. Шукин надел блестящую электрическую игрушку, а Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы, и на одном мотоцикле, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатались к совхозу. Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то-и-дело прячась, в припадках смертного страха, в придорожную траву), и когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым вилась речка Топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Полайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто и нигде не отозвался, за исключением отдаленных остервенившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты, в желтых гетрах, соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила.

— Эй, кто тут есть! — окликнул Шукин громко.

Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурился. Шукин стал посматривать серьезно, все более хмуря светлые брови. Заглянули через закрытое окно в кухню и увидели, что там никого нет, но весь пол усеян белыми оскол-

ками посуды.

— Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу. Катастрофа, — молвил Полайтис.

— Эй, кто там есть! Эй! — кричал Шукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.

— Чорт их знает! — ворчал Шукин. — Ведь, не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом.

Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились и через вымершее крыльцо вновь вышли во двор.

— Обойдем кругом. К оранжереям, — распорядился Шукин, — все обшарим, а там можно будет протелефонировать.

По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидели блещущие стекла оранжереи.

— Погоди-ка, — заметил шопотом Шукин и отстегнул с пояса револьвер. Полайтис насторожился и снял пулеметик. Станный и очень зычный звук тянулся в оранжерею и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. Зау-зау... зау-зау... с-с-с-с... шипела оранжерея.

— А, ну-ка осторожно, — шепнул Шукин и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.

Тотчас Полайтис откинулся назад, и лицо его стало бледно. Шукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.

Вся оранжерея жила как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силы электрический шар, и от него вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических огромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое густо малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия в крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин и голова ее качалась у шара, как маят-

ник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло странным гнилостным, словно прудовым запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющиеся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп человека в сером, у двери, рядом с винтовкой.

— Назад, — крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукою отдавливая Полайтиса и поднимая правой револьвер. Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенках. Чах-чах-чах-тах, стрелял Полайтис, отступая задом. Странный, четырехлапый, шорох послышался за спиной, и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо, на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Полайтису, сбilo его на землю.

— Помоги, — крикнул Полайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле. Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная, оливковая, и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец, это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив вокруг все зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев, и выпустил Полайтиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую здоровую руку, тянул переломленную левую ногу. Глаза его угасали.

— Щукин... беги, — промывчал он, всхлипывая.

Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная

пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисаженным телом, и во мгновение обвила ноги Шукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Шукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не слышалось ни одного выстрела. Все погасил щипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя было разобрать чей это вой, собачий или человеческий.

X

Катастрофа

В ночной редакции газеты "Известия" ярко горели шары, и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами "По Союзу Республик". Одна гранка попала ему на глаза, он всмотрелся в нее через пенснэ и захохотал, созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано:

"Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается, как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья."

Наборщики страшно хохотали.

— В мое время, — заговорил выпускающий, хихикая жирно, — когда я работал у Вани Сытина в "Русском Слове", допивались до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страусов.

Наборщики хохотали.

— А, ведь, верно, страус, — заговорил метранпаж; — что же ставить, Иван Вонифатьевич?

— Да что ты, сдурел, — ответил выпускающий, — я удивляюсь, как секретарь пропустил, — просто пьяная телеграмма.

— Попраздновали, это верно, — согласились наборщи-

ки, и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе.

Поэтому "Известия" и вышли на другой день, содержа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий "Известия", у себя в кабинете свернул лист, зевнув, молвил: ничего интересного, и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинете у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам.

— Понял... слушаю-с, — говорил он.

Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря:

— Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь ему прямо, что он — свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай.

"Хорошенькое дело"... — подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.

Персиков бушевал.

— Это чорт знает, что такое, — скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках, — это неслыханное издевательство надо мной и над зоологией. Эти проклятые куриные яйца везут грудями, а я 2 месяца не могу добиться необходимого. Словно до Америки далеко! Вечная кутерьма, вечное безобразие, — он стал считать по пальцам: ловля..., ну, десять дней самое большее, ну, хорошо — пятнадцать... ну, хорошо, двадцать и перелет два дня, из Лондона в Берлин день... Из Берлина к нам шесть часов... какое-то неопишное безобразие...

Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить.

В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткою "доброхим", "не прикасаться" и рисунком черепа со скрещенными костями.

Понадобилось по меньшей мере три часа, чтоб профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов ве-

вчера, и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремовыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны, потому что доцент Иванов был в Художественном театре на "Федоре Иоановиче", и, стало быть, сообщить новость профессору было некому.

Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, почитав на ночь еще в кровати какую-то английскую статью в журнале "Зоологический Вестник", полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь громадный серый корпус на Тверской ул. во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины "Известий". В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он совершенно бешеный, с красными глазами метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:

— Ну что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать.

Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучами и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ на загадочные трубки "занято", "занято", и на станции перед бессонными барышнями пели и пели сигнальные рожки...

Наборщики облепили механического толстяка, и капитан дальнего плавания говорил им:

— Аэропланы с газом придется посылать.

— Не иначе, — отвечали наборщики, — ведь это что ж такое. — Затем страшная матерная ругань перекачивалась в воздухе и чей-то визгливый голос кричал:

— Этого Персикова расстрелять надо.

— При чем тут Персиков, — отвечали из гущи, — этого сукина сына в совхозе — вот кого расстрелять.

Роковые яйца

— Охрану надо было поставить, — выкрикивал кто-то.

— Да, может, это вовсе и не яйца.

Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром.

Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтовый двор, попеременно с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листы газеты одели ее, как птицы. Листы сыпались и шуршали у всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати часам дня не хватило номеров, несмотря на то, что "Известия" выходили в этом месяце с тиражом в полтора миллиона экземпляров. Профессор Персигов выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики, в количестве трех штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке, и над ними царствовала одна русская меловая надпись: "Осторожно — яйца".

Бурная радость овладела профессором.

— Наконец-то, — вскричал он. — Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет.

Панкрат немедленно исполнил приказание, и через четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, забушевал его голос.

— Да они что же, издеваются надо мною, что ли, — выль профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца, — это какая-то скотина, а не Птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?

— Яйца-с, — отвечал Панкрат горестно.

— Куриные, понимаешь, куриные, чорт бы их задрал!

На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их этому негодю в его совхоз!

Персигов бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.

— Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! — загремел в коридоре института голос Иванова.

Персигов оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в ка-

бинет, вопреки своему джентльменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сидящей на затылке, и с газетным листом в руках.

— Вы знаете, Владимир Ипатьич, что случилось, — выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью: "экстренное приложение", посредине которого красовался яркий цветной рисунок.

— Нет, выслушайте, что они сделали, — в ответ закричал, не слушая, Персиков, — они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!

Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.

— Так вот что, — задыхаясь забормотал он, — теперь я понимаю... Нет, Владимир Ипатьич, вы только гляньте, — он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользящей над змеей, — кто это по вашему, Владимир Ипатьич?

Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:

— Что за чорт. Это... да это анаконда, водяной удав...

Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу:

— Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур, и, вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!

— Что такое? — ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым... — Вы шутите, Петр Степанович... Откуда?

Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:

— Вот откуда.

— Что-о?! — завыл Персиков, начиная соображать.

Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:

— Будьте покойны. Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке.

— Боже мой... боже мой, — повторил Персиков и, зеленая лицом, стал садиться на винтящийся табурет.

Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:

— Ну, теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатьич, вы гляньте, — и он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа... — Змеи идут стаями в направлении Можайска...откладывая неимоверные количества яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде... Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения... и отряды государственного управления прекратили панику в Вязме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов...

Персиков разноцветный, иссиня-бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:

— Анаконда... анаконда... водяной удав! Боже мой! — в таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат.

Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.

— Анаконда... анаконда... — загремело эхо.

— Лови профессора! — взвизгнул Иванов Панкрату, заплывавшему от ужаса на месте. — Воды ему... у него удар.

XI

Бой и смерть

Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало, в квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, во всех направлениях изрезанное прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные контуры на Москву и исчезали, и гасли. Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланым гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал каждые 10 минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы — это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды красной армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы ведущие на север и восток были оцеплены густей-

Роковые яйца

шим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и брэнча цепями, до верху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, оцетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью: "осторожно. Третьяковская галлерей". Машины рывкали и бегали по всей Москве.

Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара и слышались, колыша густую черноту августа, непрерывные удары пушек.

Под утро, по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам, змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое варево безумия, шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою выть.

— Да здравствует конная армия! — кричали иступленные женские голоса.

— Да здравствует! — отзывались мужчины.

— Задавят!!.. давят!.. — выли где-то .

— Помогите! — кричали с тротуара.

Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремяна и целуя их. В непрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:

— Короче повод.

Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры, в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны автомобили, с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с те-

Роковые яйца

ми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью "газ" "Доброхим".

— Выручайте, братцы, — завывали с тротуаров, — бейте гадов... Спасайте Москву!

— Мать... мать... — перекаtywалось по рядам. Папирсы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:

... Ни туз, ни дама, ни валет,
Побьем мы гадов без сомненья,
Четыре с боку ваших нет...

Гудящие раскаты "ура" выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад, постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала, и в небо улетал, немного успокаивая мятущиеся сердца, гул "ура... ура"...

* *
*

Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ манежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персигов сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне, под левым его локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает Можайский лес по квадратам, громя залежи крокодилых яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязь-

мою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того, чтобы покидать уезд в порядке правильной эвакуации, благодаря панике, металось разрозненными группами на свой риск и страх, кидаясь куда глаза глядят. Сообщалось, что отдельная кавказская кавалерийская дивизия в Можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой, благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода и что совет при главнокомандующем предпринимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести бои с гадами на самых улицах столицы, в случае, если красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествие пресмыкающихся.

Ничего этого профессор не читал, смотрел остекляевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте — Панкрат и, — то и дело заливающаяся слезами, экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени в углу, и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно.

С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей, и отозвался голос Панкрата в вестибюле... Профессор плохо воспринял этот шум.

Он поднял на мгновение голову, пробормотал: "ишь как беснуются... что ж я теперь поделаю". И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора, и серый бульжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: — убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте. — Тот поднялся с винтажного стула, выпрямился и, сложив палец крючком, ответил, при чем его глаза на миг приобрели прежний остренький блеск, напоминавший прежнего вдохновенного Персикова.

— Никуда я не пойду, — проговорил он, — это просто глупость, — они мечутся, как сумасшедшие... Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И, пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я. Панкрат! — позвал он и нажал кнопку.

Вероятно он хотел, чтоб Панкрат прекратил всю суету, которой он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились, и издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то. Он отбил ее от нее, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор.

— Ну? — спросил он. Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему:

— Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать.

Его словам ответил визг Марьи Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, завывая:

— Бей его! Убивай...

Роковый яйца

— Мирового злодея!

— Ты распустил гадов!

Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе, на полу на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый... он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:

— Это форменное сумасшествие... вы совершенно дикие звери. Что вам нужно? — Завыл: — вон отсюда! — и закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: — Панкрат, гони их вон.

Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья лежал недвижимо в вестибюле, и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.

Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок, и последним его словом было:

— Панкрат... Панкрат...

Ни в чем неповинную Марью Степановну убили и терзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгою вооруженных электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

XII

Морозный бог на машине

В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслышанный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный, мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пресмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.

Их задушил мороз. Двое суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданном холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним невиданным рисунком, который безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены.

Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные создания глинозных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной.

Были долгие эпидемии, были долго поварные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже не снабженная газами, а саперными принадлежностями, керосиновыми цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года.

А весной 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало

Роковой яйца

движение механических экипажей, и над шапкою храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28 года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец, и им заведывал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса. О луче и катастрофе 28 года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть изящный джентльмен, и ныне ординарный профессор, Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в Никольском совхозе "Красный луч" при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков.

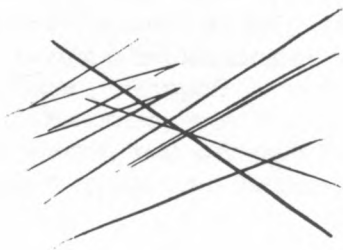
Москва. Октябрь 1924 г.

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

*Посвящается
Любови Евгеньевне Белозерской*

Михаил Булгаков

**СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ**



УМСА-PRESS
париж

У-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке — повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства — плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи, Боже мой — как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру Совет Народного Хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это — последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане "Бар" жрут дежурное блюдо — грибы, соус пикан по 3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя — все равно, что калошу лизать... У-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, а кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не гримза какая-то, что поет на лугу при луне — "милая Аида" — так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что — как взрезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть,

Собачье сердце

для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а, получив его, я, граждане, подожду с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадаетея разный. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осмюшку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании — уму собаческому непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по I X разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовы чупочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. Сволочи эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и все с красным вином. Да... Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в Бар не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает; а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает... Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве, на службе с нее вычи, тухлятиной в столовой накормили, вон она, вон она... Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорет: до чего ты не изящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь приши-

Собаچه сердце

ло мое времячко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне... Куда пойду? У-у-у-у!

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик... Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух...

Ведьма сухая метель загрела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбенку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного белишшка, задушила слова и замела пса.

Боже мой... Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало ее вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. — "Шарик" она назвала его... Какой он к черту "Шарик"? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего, — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе,

Собаچه сердце

кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься — значит стоишь... р-р-р... гау-гау...

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он все ближе и ближе. Этот ест обильно и не роует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, — больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ждет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое? Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне.

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката "Возможно ли омоложение?"

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю — в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности — зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у... Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то

Собачье сердце

еще рано, а отчаяние — и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой "Особая Краковская". И псу этот кусок. О, бескорыстная личность! У-у-у!

— Фить-фить, — повсвистал господин и добавил строгим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в Краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что... — Господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарик, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по шарикову животу.

— А-га, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. — Он пощелкал пальцами. — Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботиками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью — как бы не утратить в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный котбродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял Краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому

Собачье сердце

на kota он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. — Ф-р-р-р..га..у! Вон! Не напасешься Моссель-прома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотников на пять.

Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда не прикажете.

— Фить-фить-фить! Сюда.

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

Фить-фить! Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе.

— Да не бойся ты, иди.

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуй, Федор.

Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец — ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышком с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку), — а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Собаچه сердце

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так, целых четыре штуки.

— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

— Да ничего-с.

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом! Перегородки будут ставить.

— Черт знает, что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних — в шею.

— Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.

Иду-с, поспеваю. Бок, извольте ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули и вот — бельэтаж.

II

Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее (ежели вы проживаете в Москве), и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово "колбаса".

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью МСПО — мясная торговля. Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензиным

Собаچه сердце

дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозничьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что "голубой" не всегда означает "мясной" и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее пошло еще успешней. "А" он выгучил в "Главрыбе" на углу Моховой, а потом и "Б" — подбегать ему было удобнее с хвоста слова "рыба", потому что при начале слова стоял милиционер.

Израцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали "Сыр". Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина "Чичкина", горы голландского красного, зверей приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше "милой Айды", и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово "неприли...", что означало "неприличными словами не выражаться и на чай не давать". Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, — иногда, в редких случаях, — салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины... гау-гау... га... строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисе-евы братья бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розовым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: Пэ-ер-о "Про". Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. "Неужто пролетарий"? подумал Шарик с удивлением... "Быть этого не может". Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал:

Нет, здесь пролетарием не пахнет. Ученое слово, а Бог

Собаچه сердце

его знает — что оно значит.

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

”Вот это да, это я понимаю”, — подумал пес.

— Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого полу, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные олени рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки! До чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парши... да стой ты, черт... Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

”Повар, каторжник повар!” — Жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной каморке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

Собачье сердце

— Э, нет, — мысленно завыл пес, — извините, не дамся! Понимаю, о черт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать, и весь бок изрежут ножами, а до него и так дотронуться нельзя”.

— Э, нет, куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хряснуло по всей квартире. Потом, отлетел назад, закрутился на месте как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

— Куда ты, черт лохматый?.. — кричала отчаянно Зина, — вот окаянный!

— “Где у них черная лестница?..” — соображал пес. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой, с-скотина, — кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги, — Зина, держи его за шиворот, мерзавца.

— Ба... Батюшки, вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тянул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво в бок. “Спасибо, конечно, — мечтательно подумал он, валясь прямо на острые стекла: — Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина, и пролетариев, и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы-живодеры, за что же вы меня?”

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. "Все-таки отделали, сукины дети, — подумал он смутно, — но ловко, надо отдать им справедливость".

— "От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей", — запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и иодом.

"Угодники! — подумал пес, — это стало быть я его куснул. Моя работа. Ну, будут драть!"

— "Р-раздаются серенады, раздается стук мечей!" Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

У-у-у — жалобно заскулил пес.

— Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос, и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табакон, и в шкафу зазвенели склянки.

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделаться нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

— Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

— Только попробуй. Я тебе съем. Это отравка для человеческого желудка. Взрослая девушка, а как ребенок та-

Собачье сердце

щишь в рот всякую гадость. Не смей! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит... ”Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой...”

Мягкие drobные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окуроч папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

— Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идем принимать.

Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожжал, но быстро оправился и пошел следом за развивающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего, он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятым оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.

— Ложись, — приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тмянутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым с острой бородкой, подал лист и молвил:

— Превжний...

Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распротерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

”Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал, — в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана, — а сову эту мы разьясим...”

Дверь мягко открылась и вошел некто, настолько поразивший пса, что тот тьякнул, но очень робко.

— Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик.

Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу.

— Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор, — сконфуженно вымолвил он.

Собачье сердце

— Снимайте штаны, голубчик, — скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

”Господе Иусе, — подумал пес, — вот так фрукт!”

На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет, морщины расплзались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского шелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

”Тяю, тяю!..” — он легонько потявкал.

— Молчать! Как сон, голубчик?

— Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неопишимо, — конфузливо заговорил посетитель. — Пароль д’оннер — 25 лет ничего подобного, — субъект взялся за пуговицу брюк, — верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы — кудесник.

— Хм, — озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками и пахли духами.

Пес не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

— Ай!

— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

”Я не кусаюсь?” — удивился пес.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

— Вы, однако, смотрите, — предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, — все-таки, смотрите, не злоупотребляйте!

— Я не зло... — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться, — я, дорогой профессор, только в виде опыта.

— Ну, и что же? Какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

Собаچه сердце

— 25 лет, клянусь Богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899-м году в Париже на рю де ла Пэ.

— А почему вы позеленели?

— Проклятая Жиркость. Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунили мне вместо краски. Вы только поглядите, — бормотал субъект, ища глазами зеркало. — Им морду нужно бить! — свирепея, добавил он. — Что же мне теперь делать, профессор? — спросил он плаксиво.

— Хм, обрейтесь наголо.

— Профессор, — жалобно восклицал посетитель, — да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

— Не сразу, не сразу, мой дорогой, — бормотал Филипп Филиппович.

Наклонясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента:

— Ну, что ж — прелестно, все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. "Много крови, много песен..." Одевайтесь, голубчик!

— "Я же той, что всех прелестней!.." — дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

— Две недели можете не показываться, — сказал Филипп Филиппович, — но все-таки прошу вас: будьте осторожны.

— Профессор! — из-за двери в экстазе воскликнул голос, — будьте совершенно спокойны, — он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тятнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

— Годы показаны неправильно. Вероятно, 54-55. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой жеваной шее. Странные черные мешки висели у нее под глаза-

ми, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.

— Сударыня! Сколько вам лет? — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.

— Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!..

— Лет вам сколько, сударыня? — еще суровее повторил Филипп Филиппович.

— Честное слово... Ну, сорок пять...

— Сударыня, — возопил Филипп Филиппович, — меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

— Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь — это такой ужас...

— Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович и очки его блеснули.

— Пятьдесят один! — корчась со страху, ответила дама.

— Снимайте штаны, сударыня, — облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на белый высокий эшафот в углу.

— Клянусь, профессор, — бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, — этот Мориц... Я вам признаюсь, как на духу...

— "От Севильи до Гренады..." — рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

— Богом клянусь! — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные прорывались на ее щеках, — я знаю — это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод. — Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клочок.

Пес совершенно затуманился, и все в голове у него пошло кверху ногами.

"Ну вас к черту, — мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда, — и стараться не буду понять, что это за штука — все равно не пойму".

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой

глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

— Я вам, сударыня, всъавляю яичники обезьяны, — объявил он и посмотрел строго.

— Ах, профессор, неужели обезьяны?

— Да, — непреклонно ответил Филипп Филиппович.

— Когда же операция? — бледнея и слабым голосом спрашивала дама.

— "От Севильи до Гренады..." Угм... в понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас.

— Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

— Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого — 50 червонцев.

— Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна; будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста... потом взволнованный голос тьякнул над головой.

— Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?

— Господа, — возмущенно кричал Филипп Филиппович, — нельзя же так. Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

— Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

— Женат я, профессор.

— Ах, господа, господа!

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук.

"Похабная квартирка, — думал пес, не до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь... Наглая".

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились и как раз в то мгновение, когда дверь

впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди и все одеты очень скромно.

— Этим что нужно? — удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, — вот по какому делу...

— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, — во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

— Во-первых, мы не господа, — молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

— Во-первых, — перебил его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот, с копной.

— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.

— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папаче.

— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, — внушительно сказал Филипп Филиппович.

— Я вам не милостивый государь, — резко заявил блондин, снимая папачу.

— Мы пришли к вам, — вновь начал черный с копной.

— Прежде всего — кто это мы?

— Мы — новое домоуправление нашего дома, — в сдержанной ярости заговорил черный. — Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы...

— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?

— Нас, — ответил Швондер.

Собаچه сердце

— Боже, пропал Калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

— Что вы, профессор, смеетесь?

— Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, — крикнул Филипп Филиппович, — что же теперь будет с паровым отоплением?

— Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

— Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович, — потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении.

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

— Восьмую! Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишенный головного убора, — однако, это здорово.

— Это неопишимо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

— У меня приемная — заметьте — она же библиотека, столовая, мой кабинет — 3. Смотровая — 4. Операционная — 5. Моя спальня — 6 и комната прислуги — 7. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

— Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет

ни у кого в Москве.

— Даже у Айседоры Дункан, — звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то случилось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

— И от смотровой также, — продолжал Швондер, — смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, — а где же я должен принимать пищу?

— В спальне, — хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

— В спальне принимать пищу, — заговорил он слегка придушенным голосом, — в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. — Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, — сказал взволнованный Швондер, — мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

— Ага, — молвил Филипп Филиппович, — так? — и голос его принял подозрительно вежливый оттенок, — одну минутку попрошу вас подождать.

”Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще — каким способом, но так тяпнет... Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р...”

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

— Пожалуйста... да... благодарю вас. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяет-

ся. Что? Совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее.

— Позвольте, профессор, — начал Швондер, меняясь в лице.

— Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

— Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О, нет, Петр Александрович! О нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить.

— Позвольте, профессор, — сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, — вы извратили наши слова.

— Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

— Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у профессора и так совершенно исключительное положение... Мы знаем о его работах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

”Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес, — что он, слово, что ли, такое знает? Ну теперь можете меня бить — как хотите, а я отсюда не уйду”.

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор! — несмело вымолвил тот.

— Если бы сейчас была дискуссия, — начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, — я бы доказала Петру Александровичу...

— Винуват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем... Только я, как заведующий культотделом дома...

— За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович.

— Хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, — взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

— Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— Жалеете по полтиннику?

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.

Помолчали.

— Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разъясим, вас следовало бы арестовать.

— А за что? — с любопытством спросил Филипп Филиппович.

— Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата, — печально согласил-

Собачье сердце

ся Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

— Зина, — крикнул Филипп Филиппович, — подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли в приемную, молча в переднюю, и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

III

На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадучке, обложенной снегом, — икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты — тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчал. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. "Сады Семирамиды"! — подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой.

— Сюда их, — хищно скомандовал Филипп Филиппович. — Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец тяпнутый — он был уже без халата в приличном черном костюме — передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

— Ново-благословенная? — осведомился он.

— Бог с вами, голубчик, — отозвался хозяин. — Это

спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная — 30 градусов.

— А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович, — а во-вторых, — Бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать — что им придет в голову?

— Все, что угодно, — уверенно молвил тятнущий.

— И я того же мнения, — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло, — ...Мм... доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это... я ваш кровный враг на всю жизнь. "От Севильи до Гренады..."

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.

— Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппович. — Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

— Это бесподобно, — искренне ответил тятнущий.

— Еще бы... Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок — это первая. Когда-то их великолепно приготавливали в Славянском базаре. На, получай.

— Пса в столовой прикармливаете, — раздался женский голос, — а потом его отсюда калачом не выманишь.

— Ничего. Бедняга наголодался, — Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар; пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

— Еда, Иван Арнольдович, шутка хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе — большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать — что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой). И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет — не говорите за

Собачье сердце

обедом о большевизме и о медицине. И — Боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.

— Гм... Да ведь других нет.

— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать "Правду", — теряли в весе.

— Гм... — с интересом отозвался тятнугый, розовея от супа и вина.

— Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.

— Вот черт...

— Да-с. Впрочем, что ж это я? Сам же заговорил о медицине.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа. Словая его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать, и больше не может видеть никакой еды. "Странное ощущение, думал он, — захлопывая отяжелевшие веки, — глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость".

Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.

— Сен-Жюльен — приличное вино, — сквозь сон слышал пес, — но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягченный потолками и коврами, хорал доносился откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.

— Зинуша, что это такое значит?

— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, — ответила Зина.

— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович, — ну, теперь стало быть, пошло, пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда — спрашивается. Все будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.

— Убивается Филипп Филиппович, — заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок.

— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович, — ведь это какой дом был — вы поймите!

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, — возразил красавец тятнунтый, — они теперь резко изменились.

— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек фактов, человек наблюдения. Я — враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.

— Это интересно...

”Ерунда — калоши. Не в калошах счастье, — подумал пес, — но личность выдающаяся.”

— Не угодно ли — калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом н и о д н о г о, чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня прием. В марте 17-го года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запирасть под замок? И еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, — заикнулся было тятнунтый.

— Ничего похожего! — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. — Гм... я не признаю ликеров после обеда: они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного! На нем есть теперь калоши

и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, — кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок). Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок). Ни в коем случае! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь). На какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай Бог памяти, тухло в течение 20-ти лет два раза, в теперешнее время, аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика — ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому.

— Разруха, Филипп Филиппович.

— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, — нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это — миф, дым, фикция, — Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепаха, заерзали по скатерти. — Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее. — Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат : "бей разруху!" — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекошило так, что тяпнутый открыл рот). Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более — людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих

пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!

Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, — мутно мечтал пес, — первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют.

— Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Городовой! "Угу-гу-гу!" — какие-то пузыри лопались в мозгу пса... Городовой! Это и только это. И совершенно неважно — будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городского рядом с каждым человеком и заставить этого городского умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите — разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему.

— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, — шутливо заметил тяпнутый, — не дай Бог вас кто-нибудь услышит.

— Ничего опасного, — с жаром возразил Филипп Филиппович. — Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно — что под ним скрывается? Черт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: "мерси".

— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он при-

щурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитаётся. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? — осведомился он.

— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом — "Аида". А я давно не слышал. Люблю... Помните? Дуэт... Тари-ра-рим.

— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с уважением спросил врач.

— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, — назидательно объяснил хозяин. — Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям, и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, — под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетитор, — начало девятого... Ко второму акту поеду... Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух... Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола — в питательную жидкость и ко мне!

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, — патологоанатомы мне обещали.

— Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника наблюдаем. Пусть бок у него заживет.

"Обо мне заботится, — подумал пес, — очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он — волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг — сон? (Пес во сне дрогнул). Вот проснусь... и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовая, снег... Боже, как тяжело мне будет!.."

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день, серые гармоникки под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей

квартире.

Совершенно ясно: пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной, в приемной между шкафами отражали удачливого пса — красавца.

”Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, — размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далах. — Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на морде — белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом — не возьмет он первого попавшегося пса-дворянгу”.

В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Ну, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филиппа Филипповича — два полновзвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионами снежных блесток, пахнувший мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

— Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, — возмущенно говорила Зина, — а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.

— Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филиппович, — запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

Собаچه сердце

— Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь — как он не лопнет.

— Ну и пусть ест на здоровье... Чем тебе помешала сова, хулиган?

— У-у! — скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на зад, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянно-глазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнувшие нафталином. Но столе валялся вдребезги разбитый портрет.

— Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались, — расстроено докладывала Зина, — ведь на стол вскочил, мерзавец! И за хвост ее — цап! Я опомниться не успела, как он ее всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипшего к коврику, тащили тыкать в сову, при чем пес заливался горькими слезами и думал — "бейте, только из квартиры не выгоняйте".

— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя — как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он — просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мертвого переулка — какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга обляял его "барской сволочью" и "шестеркой". Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил: — Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович. И удивительно жирный.

— Еще бы, — за шестерых лопают, — пояснила румяная

и красивая от мороза Зина.

”Ошейник — все равно, что портфель”, — сострил мысленно пес, и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещен — именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей дарьиного царства. Всякий день в черной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неуголенной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыкала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах...

— Вон! — завопила Дарья Петровна, — вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..

— Чего ты? Ну, чего лаешься? — умильно щурил глаза пес. — Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете? — и он боком лез в дверь, просовывая в нее морду.

Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мясо, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашницей, заливала все это сливками, посыпала солью, и на доске лепила котлеты. В плите гудело как на пожаре, а на сковородке ворчалось, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клокотало и переливалось.

Вечером потухала каменная пасть, в окно кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком

кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью все, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого, и пасхальный розан свисал с него.

— Как демон пристал, — бормотала в полумраке Дарья Петровна, — отстань! Зина сейчас придет. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

— Нам это ни к чему, — плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый. — До чего вы огненная!

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами и, если в Большом театре не было "Аиды" и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле. Огней под потолком не было. Горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги.

— "К берегам священным Нила", — тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.

Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в песьей шкуре оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь.

"Зинка в кинематограф пошла, — думал пес, — а как придет, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать, — телячьи отбивные!"

В этот ужасный день еще утром Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскулил и утренний завтрак — полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел без всякого аппетита. Он скучно прошелся в

Собаچه сердце

приемную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днем после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошел обычно. Приема сегодня не было потому, что, как известно, по вторникам приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

— Отлично, — послышался его голос, — сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.

— Обед! Обед! Обед!

В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение.

”Не люблю кутерьмы в квартире”, — раздумывал он... И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталья. Тот привез с собой дурно пахнущий чемодан, и даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталью, чего с ним тоже никогда не бывало.

— Когда умер? — закричал он.

— Три часа назад, — ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан.

”Кто такой умер? — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги, — терпеть не могу, когда мечутся”.

— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. — Зина! К телефону Дарью Петровну записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас — скорей, скорей, скорей!

”Не нравится мне, не нравится”, — пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суэта сосредото-

чила в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.

“Пойти, что ль, пожрать? Ну их в болото”, — решил пес и вдруг получил сюрприз.

— Шарик ничего не давать, — загремела команда из смотровой.

— Усмотришь за ним, как же.

— Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

“Хамство, — подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате, — просто глупо...”

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа — то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно...

“Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович, — думал он, — две пары уже пришлось прикупить и еще одну купите. Чтоб вы псов не запирали”.

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности — солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы побродяги.

“Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать, — тосковал пес, сопя носом, — привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...”

Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

У-у-у! — как в бочку пролетело по квартире.

“Сову раздеру опять”, — бешено, но бессильно подумал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.

И в разгар муки дверь раскрылась. Пес вышел, отрянувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем.

“Зачем же я понадобился? — подумал он подозрительно, — бок зажил — ничего не понимаю.”

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и

был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было все в белом, а поверх белого, как эпитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки — в черных перчатках.

В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно и ушел в угол.

— Ошейник, Зина, — негромко молвил Филипп Филиппович, — только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее.

”Что же... вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам... Хоть бы я знал, что будете делать со мной...”

Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутнящий запах разлился от него.

”Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно...” — подумал пес и попятился от тяпнутого.

— Скорее, доктор, — нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним, и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. ”Злодей...” мелькнуло в голове. ”За что?” И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые загробные, небывалые розовые псы. Ноги

лишились костей и согнулись.

— На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пслюбил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху, и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом — ничего.

IV

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно.

— Иван Арнольдович, самый важный момент — когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровоточить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету — он помолчал, прищуря глаз, заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, коегде выступала кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комочком обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и промолвил, отдуваясь: "Готово".

Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса.

— Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый псией череп и странная бородатая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:

— Ну, Господи, благослови. Нож.

Борменталь из сверкающей груди на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.

— Спит? — спросил Филипп Филиппович.

— Спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Борменталья пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: "Ножницы!".

Инструмент мелькнул в руках у тупнутаго, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шартка его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и командовал:

— Шейте, доктор, мгновенно кожу, — затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

— 14 минут делали, — сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

— Нож, — крикнул Филипп Филиппович.

Собачьё сердце

Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули как скальп. Обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

— Трепан!

Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой, так, что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более 5-ти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол шарикового мозга — серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович вьелся ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору, и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталья полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

— Пульс резко падает...

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промышчал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

— Иду к турецкому седлу, — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее

Собачье сердце

в длинный шприц.

— В сердце? — робко спросил он.

— Что вы еще спрашиваете? — злобно заревел профессор, — все равно он уже 5 раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо? — Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.

— Живет, но еле-еле, — робко прошептал он.

— Некогда рассуждать тут — живет-не живет, — засипел страшный Филипп Филиппович, — я в седле. Все равно помрет... ах, ты че... ”К берегам священным Нила...” Придаток давайте.

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой — ”Не имеет равных в Европе... ей-Богу!”, — смутно подумал Борменталь, — он выхватил болтающийся комочек, а другой, ножницами, выстриг такой же в глубине где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

— Умер, конечно?..

— Нитевидный пульс, — ответил Борметаль.

— Еще адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:

— Шейте!

Борменталь минут в 5 зашил голову, сломав 3 иглы.

И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь и крикнул:

— Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье и

Собаچه сердце

ванну.

Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

— Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый.

V

ИЗ ДНЕВНИКА ДОКТОРА БОРМЕНТАЛЯ

Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Иписана почерком Борменталья. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и четок, в дальнейшем размахист, взволнован, с большим количеством клякс.

22 декабря 1924 г. Понедельник.

История болезни.

Лабораторная собака приблизительно 2-х лет от роду. Самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору — плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный. Вес 8 кг (знак восклицат.). Сердце, легкие, желудок, температура...

23 декабря. В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформным наркозом удалены яичники Шарика и вместо них пересажены мужские яичники с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за 4 часа, 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшимися в стерелизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крышки придаток мозга — гипофиз и заменен

Собачье сердце

человеческим от вышеуказанного мужчины.

Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал д-р И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.

24 декабря. Утром — улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфара, кофеин под кожу.

25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Преображенскому, физиологический раствор в вену.

26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфара, питание клизмами.

27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8, зрачки реагируют. Камфара под кожу.

28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37,0. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка. Появился аппетит. Питание жидкое.

29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан неописанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура —.

(Запись карандашом)

Вечером появился первый лай (8ч. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова "гау-гау" на слоги "а-о", по окраске

Собачье сердце

отдаленно напоминает стон.

30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат — вес 30 кг за счет роста (удлинение) костей. Пес по-прежнему лежит.

31 декабря. Колоссальный аппетит.

(В тетради — клякса. После кляксы торопливым почерком).

В 12 ч. 12 мин. дня пес отчетливо пролаял А-б-ыр.

(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано) :

1 декабря. (Перечеркнуто, поправлено) 1 января 1925 г. Фотографирован утром. Счастливо лает "Абыр", повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня (крупными буквами) засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнес 8 раз подряд слово "Абыр-валг", "Абыр".

(Косыми буквами карандашом) : профессор расшифровал слово "Абыр-валг", оно означает "Главрыба"... Что-то чудовищ...

2 января. Фотографирован во время улыбки при магии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

(В тетради вкладной лист).

Русская наука чуть не понесла тяжелую утрату.

История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.

В 1 час 13 минут. — глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о палку стула. Т-а.

В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.

(Перерыв в записях).

6 января. (То карандашом, то фиолетовыми чернилами).

Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово "пивная". Работает фонограф. Черт знает — что такое.

Я теряюсь.

Собачье сердце

Прием у профессора прекращен. Начиная с 5-ти час. дня из смотровой, где рассказывает это существо, слышится явно вульгарная ругань и слова "еще парочку".

7 января. Он произносит очень много слов: "Извозчик", "Мест нету", "Вечерняя газета", "Лучший подарок детям" и все бранные слова, которые только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области половых органов — формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно. Лоб скошен и низок.

Ей-Богу, я с ума сойду.

Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. (*Фонограф, фотографии*).

По городу расплылись слухи.

Последствия неисчислимы. Сегодня днем весь переулочек был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка "Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распушены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны". — О каком, к черту, марсианине? Ведь это — кошмар.

Еще лучше в "Вечерней" — написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка и под ней подпись:

Собачье сердце

”Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери”. Это — что-то неопишваемое... Он говорит новое слово ”милиционер”.

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того, как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и т.д.

Что творится во время приема! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут...

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами не знают.

8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый ученый, признал свою ошибку — перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечение (*подчеркнуто три раза*). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах (*зачеркнуто*)... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое отчетливо произнесенное слово: ”буржуи”. Ругался. Ругань эта методическая, непрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми.

Собаچه сердце

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

— Перестань!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинете, общими усилиями Шарик был водворен в смотровую.

После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: "Что же мы теперь будем делать?" И сам же ответил буквально так: "Москвошвея, да... От Севильи до Гренады. Москвошвея, дорогой доктор..." . Я ничего не понял. Он пояснил: — "Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак".

9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (*в среднем*) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: "Не толкайся", "Подлец", "Слезай с подножки", "Я тебе покажу", "Признание Америки", "Примус".

10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: "В очередь, сукины дети, в очередь!" Был одет. Носки ему велики.

(*В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую*).

Удлиняется задняя половина скелета стопы (*planta*). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад.

11 января. Совершенно примирился со штанами. Про-

Собачье сердце

изнес длинную веселую фразу: "Дай папиросочку, — у тебя брюки в полосочку".

Шерсть на голове — слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ест селедку.

В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: "Не бросай объедки на пол" — неожиданно ответил: "Отлезь, гнида".

Филипп Филиппович был поражен, потом оправился и сказал:

— Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздраженно, но стих.

Ура, он понимает!

12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал "Ой, яблочко". Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важное: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хурурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы — творец. (*Клякса*).

Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Еще моя гипо-

Собачьё сердце

теза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, — уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречающих псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

Шарик читал. Читал (3 восклицательных знака). Это я догадался. По главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перерезке зрительных нервов собаки.

Что в Москве творится — уму непостижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число : 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось... Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночью в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.

С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил : "Вы думаете?" Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

(В тетрадке вкладной лист).

Собаچه сердце

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улики, второй раз происхождение спасло, в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (*алкоголь*). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной ("*Стоп-Сигнал*", у *Преображенской заставы*).

Старик, не отрываясь, сидит над Климовской болезнью. Не понимаю — в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патолого-анатомическом весь труп Чугункина. В чем дело — не понимаю. Не все ли равно чей гипофиз?

17 января. Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцией. За это время облик окончательно сложился.

- а) совершенный человек по строению тела;
 - б) вес около 3-х пудов;
 - в) рост маленький;
 - г) голова маленькая;
 - д) начал курить;
 - е) ест человеческую пищу;
 - ж) одевается самостоятельно;
 - з) гладко ведет разговор.
-

Вот так гипофиз (*клякса*).

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно с начала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись : ассистент профессора Ф.Ф. Преображенского

Доктор Борменталь.

VI

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, пред-приемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было написано:

”Семечки есть в квартире запрещаю”.

Ф. Преображенский.

и синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукою Борменталья:

”Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается”.

Затем рукою Зины:

”Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю — куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером”.

Рукой Преображенского:

”Сто лет буду ждать стекольщика?”

Рукой Дарьи Петровны (*печатно*):

”Зина ушла в магазин, сказала приведет”.

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шелковым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам — зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые воркующие слова. Он читал заметку:

”Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия. Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом.

Шв...р”.

Очень настойчиво с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации ”Светит месяц” смешивались в голове Филиппа Филипповича

Собаچه сердце

со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

— Све-е-етит месяц... све-е-етит месяц... светит месяц... Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

— Скажи ему, что 5 часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.

”Как в калошах” — с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвонили пять раз. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатях в кухне — тем более днем?

Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил:

— Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый, и в

то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстукке.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

— Чем же "гадость?" — заговорил он, — шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

— Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить прилич-ные ботинки; а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

— Я велел ему, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий — все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

— Спать на полатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Лицо человека потемнело и губы оттопырились.

— Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:

— Не смей называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

— Понятно, я вас спрашиваю?

— Понятно.

— Убрать эту пакость с шеи. Вы... .. вы посмотрите на себя в зеркало на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту "пес его знает"! Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

— Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человеке.

— Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?! И насчет "папаши" — это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? — человек возмущенно лаял — хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предьявить.

Глаза Фипиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. "Ну, тип", — пролетело у него в голове.

— Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? — прищурившись спросил он. — Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал...

— Да что вы все попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?

— Филипп Филиппович! — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович, — я вам не товарищ! Это чудовищно! "Кошмар, кошмар", — подумалось ему.

— Уж, конечно, как же... — иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право...

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурочек в раковине с выражением, ясно говорящим: "На! На!" Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп Филиппович, — и я не понимаю — откуда вы их берете?

— Да что уж, развожу я их, что ли? — обиделся человек, — видно, блохи меня любят, — тут он пальцем пошарил

Собачье сердце

в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клочок рыжей легкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казавший блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?

— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передернуло.

— Хм... Черт! Документ! Действительно... Кхм... а, может быть, это как-нибудь можно... — голос его звучал неуверенно и тоскливо.

— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как же так без документа? Это уж — извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком...

— При чем тут домком?

— Как это при чем? Встречают, спрашивают — когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

— Ах, ты, Господи, — уныло воскликнул Филипп Филиппович, — встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам.

— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. — Как это так "шляться"?! Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. "Надо все-таки сдерживать себя", — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

Собаچه сердце

— Известно чьи — трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему же вы — труженик?

— Да уж известно — не нэпман.

— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

— Известно что — прописать меня. Они говорят — где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это — раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же — союз, биржа...

— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? — По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением. Не забывайте, что вы... Э... гм... вы ведь, так сказать, — неожиданно явившееся существо, лабораторное. — Филипп Филиппович говорил все менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатаю в газете и шабаш.

— Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

— Полиграф Полиграфович.

— Не валяйте дурака, — хмуро отозвался Филипп Филиппович, — я с вами серьезно говорю.

Язвительная усмешка искривила ушишки человека.

— Что-то не пойму я, — заговорил он весело и осмысленно. — Мне по матушке нельзя. Плевать — нельзя. А от вас только и слышу: "Дурак, дурак". Видно только профессорам разрешается ругаться в Ресефесере.

Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: "Еще немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя".

Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твердостью произнес:

— Извините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали — какое

Собачье сердце

тебе, говорят. Я и выбрал.

— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

— Довольно удивительно, — человек усмехнулся, — когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина.

— Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:

— Где?

— 4-го марта празднуется.

— Покажите... Гм... Черт... В печку его, Зина, сейчас же.

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покачал укоризненно голову.

— Фамилию позвольте узнать?

— Фамилию я согласен наследственную принять.

— Как? Наследственную? Именно?

— Шариков.

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.

— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.

— Что же, — заговорил Швондер, — дело не сложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом.

— Гм... вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним словом...

— Это — ваше дело, — со спокойным злорадством вымолвил Швондер, — зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

Собачье сердце

— И очень просто, — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.

— Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Филиппович, — не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите "и очень просто" — это очень не просто.

— Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забубнил Шариков.

Швондер немедленно его поддержал.

— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: "Да"... покраснел и закричал:

— Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? — И он с силой всадил трубку в рогульки.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера.

Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

— Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух:

— "Сим удостоверяю"... Черт знает, что такое... Гм... "Предъявитель сего — человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах"... Черт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись — "профессор Преображенский".

— Довольно странно, профессор, — обиделся Швондер, — как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

— Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро твякнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но бысто оправился и учтиво заметил Шарикову.

— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.

— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Собаچه сердце

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: "Не угодно ли — мораль". Борменталь многозначительно кивнул головой.

— Я тяжело раненный при операции, — хмуро подвыл Шариков, — меня, вишь, как отделали, — и он показал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

— Вы анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.

— Мне белый билет полагается, — ответил Шариков на это.

— Ну-с, хорошо-с, не важно пока, — ответил удивленный Швондер, — факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию, и нам выдадут документ.

— Вот что, э... — внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, — нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. "Изнервничался старик", подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил.

— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет! Вот — тип, я вам доложу...

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там что-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.

Собаچه сердце

— Боже мой, еще что-то! — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

— Сколько раз я приказывал — котов чтобы не было, — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради Бога, пациентов в приемной!

— В ванной, в ванной проклятый черт сидит, — задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.

— Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

— Убью на месте...

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, треснуло червиной трещиной, и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городского. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

— О, Господе Иисусе!

Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно:

— Что вам надо?

— Говорящую собачку любопытно поглядеть, — ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе

Собаچه сердце

подошел вплотную и шепнул удушливо:

— Сию секунду из кухни вон!

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:

— Что-то уж больно дерзко, господин профессор.

— Вон, я говорю! — повторил Филипп Филиппович, и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой, — Дарья Петровна, я же просил вас.

— Филипп Филиппович, — в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, — что же я подедаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай.

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно. Вошел доктор Борменталь.

— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... сколько там пациентов?

— Одиннадцать, — ответил Борменталь.

— Отпустите всех, сегодня принимать не буду.

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

— Гу-гу! — жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

— Какого черта!.. Не слышу, закройте воду.

— Гау! Гау!..

— Да закройте воду! Что он сделал — не понимаю... — приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком в дверь.

— Вот он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, — царапина.

— Вы с ума сошли? — спросил Филипп Филиппович. — Почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

— Защелкнулся я.

— Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?

— Да не открывается, окаанный! — испуганно ответил Полиграф.

— Батюшки! Он предохранитель защелкнул! — вскри-

Собачье сердце

чала Зина и всплеснула руками.

— Там пуговка есть такая! — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекрычать воду, — нажмите ее книзу... Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.

— Ни пса не видно, — в ужасе пролаял он в окно.

— Да лампу зажгите. Он взбесился!

— Котяра проклятый лампу раскокал, — ответил Шариков, — а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

— Ду... гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рев воды.

Послышался голос Федора:

— Филипп Филиппович, все равно надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни.

— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделась на три потока: прямо в противоположную уборную, направо — в кухню и налево в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке — весь мокрый.

— Еле заткнул, напор большой, — пояснил он.

— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

— Бойтся выходить, — глупо усмехаясь, объяснил Федор.

— Бить будете, папаша? — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной.

— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юб-

ках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Зброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже, на паркете передней, и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

— Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула...

— А когда же прием? — добивался голос за дверью, — мне бы только на минуточку...

— Не могу, — Борменталь переступил с носков на каблуки, — профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда выгирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

— Тряпки не берут.

— Сейчас кружками вычерпаем, — отозвался Федор, — сейчас.

Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже подошвой стоял в воде.

— Когда же операция? — приставал голос и пытался просунуться в щель.

— Труба лопнула...

— Я бы в калошах прошел...

Синеватые силуэты появились за дверью.

— Нельзя, прошу завтра.

— А я записан.

— Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из предней обратно к уборной.

— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья Петровна, — выливай в раковину.

— Да что в раковину, — ловя руками мутную воду, отвечал Шариков, — она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

— В калоши станьте.

— Да ничего. Все равно уже ноги мокрые.

— Ах, Боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.

— До чего вредное животное! — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули.

— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты, — позвольте узнать.

— Про кота я говорю. Такая сволочь, — ответил Шариков, бегая глазами.

— Знаете, Шариков, — переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, — я положительно не видал более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

— Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете... Да нет! Это черт знает что такое!

— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Борменталь, — сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

— Какой я дикарь? — хмуρο отозвался Шариков, — ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет — как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович, — вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой.

Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись баннным налетом, и звонки прекратились. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

— Вот вам, Федор.

— Покорнейше благодарю.

— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

— Покорнейше благодарю, — Федор помялся, потом сказал. — Тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо

и совестно. Только — за стекло в 7-й квартире... Гражданин Шариков камнями швырял...

— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

— То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать.

— Черт!

— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили.

— Ради Бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах. Сколько нужно?

— Полтора.

Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору.

— Еще за такого мерзавца полтора целковых платить, — слышался в дверях глухой голос, — да он сам...

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

— Не смей! — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, уж это действительно, — многозначительно заметил Федор, — такого наглого я в жизнь свою не видал.

Борменталь как из-под земли вырос.

— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос:

— Вы что? В кабаке, что ли?

— Это так... — добавил решительно Федор, — вот это так... Да по уху бы еще...

— Ну, что вы, Федор, — печально буркнул Филипп Филиппович.

— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович

VII

— Нет, нет и нет! — настойчиво заговорил Борменталь, —

Собаچه сердце

извольте заложить.

— Ну, что, ей-Богу, — забурчал недовольно Шариков.

— Благодарю вас, доктор, — ласково сказал Филипп Филиппович, — а то мне уже надоело делать замечания.

— Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

— Как это так "примите"? — расстроился Шариков, — я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой закинул салфетку за воротник и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

— И вилкой, пожалуйста, — добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

— Я еще водочки выпью? — заявил он вопросительно.

— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь, — последнее время вы слишком налегаете на водку.

— Вам жалко? — осведомился Шариков и глянул исподлобья.

— Глупости говорите... — вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

— Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы, — произнес профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталья, налил рюмочку.

— И другим надо предложить, — сказал Борменталь, — и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

— Вот все у вас как на параде, — заговорил он, — салфетку — туда, галстук — сюда, да "извините", да "пожалуйста — мерси", а так, чтобы по-настоящему, — это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

— А как это "по-настоящему"? — позвольте осведомить-

Собачье сердце

ся.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес.

— Ну, желаю, чтобы все...

— И вам также, — с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его наполнились слезами.

— Стаж, — вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился.

— Виноват...

— Стаж! — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, — тут уж ничего не поделаешь — Клим.

Борменталь с чрезвычайным интересом остро взгляделся в глаза Филиппа Филипповича:

— Вы полагаете, Филипп Филиппович?

— Нечего полагать, уверен в этом.

— Неужели... — начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.

Тот подозрительно нахмурился.

— Später... — негромко сказал Филипп Филиппович.

— Gut, — отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

— Я не хочу. Я лучше водочки выпью. — Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

— В цирк пойдем, лучше всего.

— Каждый день в цирк, — благодушно заметил Филипп Филиппович, — это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр ходил.

— В театр я не пойду, — неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.

Собаچه сердце

— Икание за столом отбивает у других аппетит, — машинально сообщил Борменталь. — Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

— Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой часток. Борменталь только повертел голову.

— Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, — а то, знаете ли...

— Уж и так читаю, читаю... — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе пол стакана водки.

— Зина, — тревожно закричал Филипп Филиппович, — убирай, детка, водку. Больше уж не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. "Надо будет Робинзона"...

— Эту... Как ее... переписку Энгельса с этим... как его — дьявола — с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, взгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими, — ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь Богом. "Всех, кто скажет, что другая..." А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...

— Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепая ладонью по скатерти, — именно так и полагал.

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный

Борменталь.

— Да какой тут способ, — становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, — дело не хитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

— Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съезжился и промолчал.

— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, сколько вы вчера отказали?

— 39-ти человекам, — тотчас ответил Борменталь.

— Гм... 390 рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести.

— Хорошенькое дело, — ответил Шариков, испугавшись, — это за что такое?

— За кран и за кота, — рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович, — тревожно воскликнул Борменталь.

— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...

— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, — подлетел Борменталь.

— Вы стойте... — рычал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула, — взвизгнул Шариков, — у меня не казенная морда!

— Потому что вы ее за грудь ущипнули, — закричал Борменталь, опрокинув бокал, — вы стойте...

— Вы стойте на самой низшей ступени развития, — перекричал Филипп Филиппович, — вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить... а в то же время вы наглотались зубного порошку...

— Третьего дня, — подтвердил Борменталь.

— Ну вот-с, — гремел Филипп Филиппович, — зарубите себе на носу, — кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? — что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

— Все у вас негодяи, — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.

— Я догадываюсь, — злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Чтоб я развивался...

— Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, — визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. — Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

— Зина! — кричал Борменталь.

— Зина! — орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

— Зина, там в приемной... Она в приемной?

— В приемной, — покорно ответил Шариков, — зеленая, как купорос.

— Зеленая книжка...

— Ну, сейчас палить, — отчаянно воскликнул Шариков, — она казенная, из библиотеки!

— Переписка — называется, как его... Энгельса с этим чертом... В печку ее!

Зина улетела.

— Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку, — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, — сидит изумительная дрянь в доме — как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

”Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире”, — вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина внесла на круглом блюде рьжюю с правого и рюмяную с левого бока бабу и кофейник.

— Я не буду ее есть, — сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.

Собаچه сердце

— Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков выгашил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради Бога, посмотрите в программе — котов нету?

— И как такую сволоочь в цирк пускают, — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

— Ну, мало ли кого туда допускают, — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, — что там у них?

— У Соломонского, — стал вычитывать Борменталь, — четыре какие-то... Юссемс и человек мертвой точки.

— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

— Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

— Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно.

— У Никитиных... У Никитиных... гм... слоны и предел человеческой ловкости.

— Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.

Тот обиделся.

— Что же, я не понимаю, что ли. Кот — другое дело. Слоны — животные полезные, — ответил Шариков.

— Ну-с и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через десять минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кэпку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала

его ученый с взлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы "к берегам священным Нила..." и что-то бормотал. Наконец, отложив сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в Пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

— Ей-Богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике... Профессор нетерпеливо поджидал возвращения д-ра Борменталья и Шарикова из цирка.

VIII

Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал и, может быть, вследствие его бездействия, квартирная жизнь переполнилась событиями.

Дней через 6 после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся жен-

Собачье сердце

щиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал д-ра Борменталья.

— Борменталь!

— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице.

Нужно заметить, что в эти 6 дней хирург ухитрился раз 8 поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в обуховских комнатах была душная.

— Ну и меня называйте по имени отчеству! — совершенно основательно ответил Шариков.

— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович, — по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно "Шариков", и я и доктор Борменталь будем называть вас "господин Шариков".

— Я не господин, господа все в Париже! — отлаял Шариков.

— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппович, — ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я или вы уйдете отсюда и, вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах объявления и, поверьте, я вам найду комнату.

— Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда, — очень четко ответил Шариков.

— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.

— Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! — Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана 3 бумаги: зеленую, желтую и белую и, тыча в них пальцами, заговорил:

— Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне полагается определенно в квартире № 5 у ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин, — Шариков подумал и добавил слово, которое Борменталь машинально отметил в мозгу, как новое: благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил:

— Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.

Шариков в высшей степени внимательно и остро принял

эти слова, что было видно по его глазам.

— Филипп Филиппович, *vorsichtig* — предостерегающе начал Борменталь.

— Ну, уж знаете... Если уж такую подлость!... — вскричал Филипп Филиппович по-русски. — Имейте в виду, Шариков... господин, что я, если вы позволите себе еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. 16 аршин — это прелестно, но ведь я не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге!

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

— Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал он, — где же я буду харчеваться?

— Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталья, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и д-р Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее событие: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича 2 червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились 2 неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене, в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей заделалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотой вязью было написано: "Дорогому

Собачье сердце

и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день...”, дальше шла римская цифра X.

— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки на Шарикова.

Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а — хорошие.

— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные... Как же они ухитрились? — поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.

— Специалисты, — пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане.

От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неясственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире.

— Ага, быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.

Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение:

— А может быть, Зинка взяла...

— Что такое?.. — закричала Зина, появившись в дверях как приведение, прикрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью, — да как он...

Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.

— Спокойно, Зинуша, — молвил он, простирая к ней руку, — не волнуйся, мы все это устроим.

Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице.

— Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам! — заговорил Борменталь растерянно.

— Ну, Зина, ты — дура, прости Господи, — начал было Филипп Филиппович.

Но тут Зинин плач прекратился сам собой и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук — не то "и", не то "е" — вроде "эээ"! Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть.

— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!

И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Бормен-

Собаچه сердце

таля, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа 3 пополудни, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь.

Доктор Борменталь, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талией.

Филипп Филиппович, — прочувственно воскликнул он, — я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель... Мое безмерное уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.

— Да, голубчик, мой... — растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.

— Ей-Богу, Филипп Фили...

— Так растрогали, так растрогали... Спасибо вам, — говорил Филипп Филиппович, — голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности ведь я так одинок... "От Севильи до Гренады..."

— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?.. — искренно воскликнул пламенный Борменталь, — если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом...

— Ну, спасибо вам... "К берегам священным Нила..." Спасибо... И я вас полюбил как способного врача.

— Филипп Филиппович, я вам говорю!.. — страстно воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор и, вернувшись, продолжал шепотом, — ведь это — единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь так нельзя же больше работать!

— Абсолютно невозможно, — вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.

— Ну, вот, это же немыслимо, — шептал Борменталь, — в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это

может получиться ужасная штука. Но по моему глубокому убеждению, другого выхода нет.

Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:

— И не соблазняйте, даже и не говорите, — профессор заходил по комнате, закачав дымные волны, — и слушать не буду. Понимаете, что получится, если вас накроют. Нам ведь с вами на "принимая во внимание происхождение" — отъехать не придется, невзирая на вашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой?

— Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно, — горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.

— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси. "От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей..." вот, черт ее возьми.

— Филипп Филиппович, вы — величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына... Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!

— Тем более, не пойду на это — задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.

— Да почему?

— Потому что вы-то ведь не величина мирового значения.

— Где уж...

— Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите... Я — московский студент, а не Шариков.

Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.

— Филипп Филиппович, эх... — горестно воскликнул Борменталь, — значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?

Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, сососал лимон и заговорил:

— Иван Арнольдovich, как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии, ну скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?

— Филипп Филиппович, что вы спрашиваете! — с большим чувством ответил Борменталь и развел руками.

— Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.

— А я полагаю, что вы — первый не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! — яростно перебил Борменталь.

— Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Конечно. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображенский сказал. Finita, Клим! — вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном, — Клим, — повторил он. — Вот что, Борменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу по секрету, — конечно, я знаю, вы не станете срамить меня — старый осел Преображенский нарвался на этой операции как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете — какое, — тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву, — но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где, — здесь, — Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее, — будьте спокойны! Если бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, — разложил меня здесь и выпорол, — я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять! "От Севильи до Гренады..." Черт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов... Вы знаете, какую я работу проделал — уму непостижимо. И вот теперь, спрашивается — зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.

— Исключительное что-то.

— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей.

— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

— Да! — рявкнул Филипп Филиппович. — Да! Если только злостная собака не помрет у меня под ножом, а вы видели — какого сорта эта операция. Одним словом, я — Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно

высоко стоящего. Но на какого дьявола? — спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории Шариковской болезни. Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош... Да, не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно. Ну, ладно! Физиологи будут в восторге. Москва беснуется... Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? — Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков.

— Исключительный прохвост.

— Но кто он — Клим, Клим — крикнул профессор, — Клим Чугунов (Борменталь открыл рот) — вот что-с: две судимости, алкоголизм, "все поделить", шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел) — хам и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! "От Севильи до Гренады..." — свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович, — а не общечеловеческое. Это — в миниатюре — сам мозг. И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый.

— Вы великий ученый, вот что! — молвил Борменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.

— Я хотел проделать маленький опыт, после того, как 2 года тому назад впервые получил из гипофиза выгяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о Господи... Доктор, передо мной — тупая безнадежность, я клянусь, потерялся.

Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу:

— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете,

я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов — это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

— Ага! Теперь поняли? А я понял через 10 дней после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.

— Еще бы! Одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем.

— О нет, нет, — протяжно ответил Филипп Филиппович, — вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради Бога не клеветите на пса. Коты — это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверю вас. Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.

— А почему не теперь?

— Иван Арнольдович, это элементарно... Что вы на самом деле спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты — это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!

До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо молвил:

— Кончено. Я его убью!

— Запрещаю это! — категорически ответил Филипп Филиппович.

— Да помилуйт...

Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.

— Погодите-ка... Мне шаги слышались.

Оба прислушались, но в коридоре было тихо.

— Показалось, — молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово "уголовщина".

— Минуточку, — вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул двери и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле.

В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как от страха показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это "что-то", упираясь, садилось на зад и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. "Что-то", конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.

Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:

— Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина — невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.

Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.

— Дарья Петровна, извините ради Бога, — опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.

Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся.

— Что вы, доктор! Я запрещаю...

Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно на сорочке спереди треснуло.

Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.

— Вы не имеете права биться! — полузадушенный кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.

— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.

Борменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.

— Ну, ладно, — прошипел Борменталь, — подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится.

Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать.

При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.

Филипп Филиппович растопырил ноги, от чего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:

— Ну-ну...

IX

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

— Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю. "От Севильи до Гренады", Боже мой.

— Он в домкоме еще может быть, — бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец Полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.

Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху до низу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно — что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутыл-

ку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталья и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.

— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, какая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово "милиция", как благоговейную тишину Обухова переуллка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов сейчас расплылся по всей передней. Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Он пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец говорить, — на должность поступил.

Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано: "Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ".

— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.

— Ну, да, Швондер, — ответил Шариков.

— Позвольте вас спросить — почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

Собачье сердце

— Ну, что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера котов душили, душили...

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталья. Глаза у того напомнили два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

— Караул! — пискнул Шариков, бледнея.

— Доктор!

— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, — не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, — извините меня...

— Ну хорошо, повторяю, — сильным голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуха, дернулся и попытался крикнуть "караул", но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.

— Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покорется и будет повторять.

—...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..

— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.

— Уф, Прокофьевна... говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков, — ...что я позволил себе...

— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

— Опьянения...

— Никогда больше не буду...

— Не бу...

— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмолились одновременно обе женщины, — вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

— Грузовик вас ждет?

— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только меня привез.

— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

— Куда же мне еще? — робко ответил Шариков, блуждая глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

— Понятно, — ответил Шариков.

Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съезжился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:

— Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?

— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталья.

Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной комнате — приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В потертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот оторопелый остановился, прищурился и спросил:

— Позвольте узнать?

— Я с ней расписываюсь, это — наша машинистка, жить со мной будет. Борменталья надо будет выселить из приемной. У него своя квартира есть, — крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее.

— Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

— Извините, — сказал он, — профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаюсь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.

— Нет, простите, — Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала барышня.

— Лжет, — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головою и продолжал. — Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь это безобразие. Вот что... — Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке солонина каждый день... и угрожает... говорит, что он красный командир... со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день авансы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу... Он у меня кольцо на память взял...

— Ну, ну, ну, — психика добрая... "От Севильи до Гренады", — бормотал Филипп Филиппович, — нужно перетерпеть — вы еще так молоды...

— Неужели в этой самой подворотне?

— Ну, берите деньги, когда дают займы, — рявкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка.

— Подлец, — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

— Я на Колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович, — погодите, колечко позвольте, — сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

— Ну, ладно, — вдруг злобно сказал он, — попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

— Не бойтесь его, — крикнул вслед Борменталь, — я ему не позволю ничего сделать. — Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф.

— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь. — Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен.

— Васнецова, — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

— Ежедневно, — взявшись за лацкан Шариковской куртки, выговорил Борменталь, — сам лично буду справляться в чистке — не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас... собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, — говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.

— У самих револьверы найдутся... — пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

— Берегитесь! — донесся ему вдогонку борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неуточный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками к профессору.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил осунувшийся Филипп Филиппович, — садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола, — я вам очень признателен... Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... питаю большое уважение... гм... предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост... — пациент полез в портфель и вынул бумагу, — хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков

Собаچه сердце

и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. "... а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социалприслужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно не прописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П.П. Шарикова — удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин".

— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, — или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

— Извините, профессор, — очень обиделся пациент, и раздул ноздри, — вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... — И тут он стал надуваться, как индейский петух.

— Ну, извините, извините, голубчик! — забормотал Филипп Филиппович, — простите, я право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал...

— Я думаю, — совершенно отошел пациент, — но какая все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают...

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

*
* *

Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Борменталю, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

Собаچه сердце

— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, все, что вам нужно, — и вон из квартиры!

— Как это так? — искренне удивился Шариков.

— Вон из квартиры — сегодня, — монотонно повторил Филипп Филиппович, шурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно гибель уже караулила его, и срок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

— Да что такое в самом деле! Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

— Убирайтесь из квартиры, — задушенно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом — шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталья из кармана вынул револьвер. Папираса Борменталья упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней распростертый и хрипящий лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошел на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

”Сегодня приема по случаю болезни профессора — нет. Просят не беспокоить звонками”.

Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал:

— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.

— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь в стене и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

— Хорошо, — ответили женщины и сейчас же стали

Собачье сердце

бледными. Борменталь запер черный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Борменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдovich. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну, все... вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще что... впрочем, может быть, невинная девушка из Пречистенской квартиры и врет...

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

ЭПИЛОГ

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховом переулке, ударил резкий звонок.

— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народу. Двое в милицейской форме, один в черном пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущенно отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил. — Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и, — человек покосился на усы Филиппа Филипповича и dokonчил, — и арест, в зависимости от результата.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля.

— По обвинению Преображенского, Борменталья, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

— Ничего я не понимаю, — ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи, — какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я оперировал?

Собачье сердце

— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело.

— То-есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович, — это еще не значит быть человеком. Впрочем, это неважно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

— Профессор, — очень удивленно заговорил черный человек и поднял брови, — тогда его придется предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

— Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю, — приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.

Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустил на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдал Зине обе ноги.

Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:

— Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...

— Я его туда не назначал, — ответил Филипп Филиппович, — ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

— Я ничего не понимаю, — растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. — Это он?

— Он, — беззвучно ответил милиционер. — Форменно он.

— Он самый, — послышался голос Федора, — только, сволочь, опять оброс.

— Он же говорил... кхе... кхе...

— И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

— Но почему же? — тихо осведомился черный человек. Филипп Филиппович пожал плечами.

Собачье сердце

— Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

— Неприличными словами не выражаться, — вдруг гаркнул пес с кресла и встал.

Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливей всего были слышны три фразы:

Филиппа Филипповича: — Валерьянки. Это обморок.

Доктора Борменталья: — Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского.

И Швондера: — Прошу занести эти слова в протокол.

*

* *

Серые гармонии труб играли. Шторы скрывали густую пречистенскую ночь с ее одинокою звездой. Высшее существо, важный песий благотворитель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и теплые.

”Так свезло мне, так свезло, — думал он, задремывая, — просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть”.

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— ”К берегам священным Нила...”

Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках

Собаچه сердце

важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, — упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел:

— ”К берегам священным Нила...” ”

ДЬЯВОЛИАДА

Впервые — в альманахе *Недра*, 1924, № 4, стр. 221-57. Затем повесть включалась в сборник *Дьяволиада* (М., 1925), стр. 3-43. Это — крайне редкое издание. Тираж был не больше 5000. (*Книга в 1926 году* сообщает, что тираж — 3000. *Книга в 1925 году* утверждает, что тираж — 5000. Много экземпляров было уничтожено, и в СССР в 1970-е годы коллекционеры считали ее одной из редчайших изданий.) Издательство „Недра” выпустило сборник, не дав Булгакову возможности прочитать гранки. У нас нет рукописи, но можно заключить, что много опечаток осталось в опубликованном тексте. Мы исправили здесь явные ошибки.

Сборник *Дьяволиада*, как отмечено в предисловии к настоящему тому, должен был включить следующие произведения в следующем порядке: „Роковые яйца”, „Дьяволиада”, „Китайская история”, „Ханский огонь”, „№ 13. Дом Эльпит-Рабкоммуна”, „Похождения Чичикова”.

Текст повести „Дьяволиада”, к сожалению, отсутствует в фотокопии булгаковской рукописи, имеющейся в моем распоряжении, но пагинация показывает, что в оригинале она была включена после „Роковых яиц”.

Сборник *Дьяволиада* переиздавался несколько раз на Западе. Под заглавием *Роковые яйца* (без рассказа „Китайская история”), сборник переиздавался в Риге издательством „Литература” в 1928 году с предисловием Петра Пильского („Ирония и фантастика”). Издательство им. Чехова выпустило сборник (без рассказа „Китайская история”) в Нью-Йорке в 1952 году, под заглавием *Сборник рассказов*. Это особенно важно ввиду того, что в тот момент никто не занимался Булгаковым в Советском Союзе. Это не репринт, а новое издание с предисловием, которое содержит несколько серьезных ошибок. Редактор утверждает, например, что Булгаков жил в Берлине несколько лет (на самом деле, Булгаков никогда не был за границей). К сожалению, это издание было подвергнуто цензуре редакторами изд. Чехова, которые опустили булгаковские фразы, выражающие неуважение к церкви. Часть сборника была опубликована издательством „Флегон” (Лондон, 1970); не вошли в это издание ни „Роковые яйца”, ни „Китайская история”. С

1975 по 1979 гг. издательство „Ардис” выпустило три факсимильных издания, сделанные непосредственно с оригинала сборника *Дьяволиада*.

Булгаков кончил повесть „Дьяволиада” летом 1923 года, судя по письму его другу, Ю. Слезкину (см. предисловие к первому тому настоящего собрания сочинений, стр. 50). Сначала он ее предложил журналу *Россия*. Когда редактор И. Лежнев отказался принять повесть, Булгаков передал ее Ангарскому, редактору сборников (и издательства) „Недра”.

Повесть до сих пор не перепечатывалась в Советском Союзе.

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

Впервые опубликованы в „Недрах”, 1925, № 6, стр. 79-149. Сокращенный вариант вышел в журнале *Красная панорама*, 1925, № 19, № 20, № 21, № 22, № 24 — первые куски под названием „Красный луч,” — и последние куски под названием „Луч жизни”.

Фотокопия булгаковской машинописи, имеющейся в моем распоряжении, имеет авторскую датировку: „Москва. Октябрь 1924 г.”. В этой рукописи Булгаков вычеркнул фразы, которые, очевидно, не понравились Главлиту. В настоящем издании мы насколько возможно (некоторые слова неразборчивы) сохранили оригинальный вариант.

Приводим список главных разночтений оригинала и советского печатного варианта (то-есть, из сборника 1925-го года). Первая цифра относится к настоящему изданию, — вторая (курсив) — к советскому изданию 1925 года.

стр. 44: к военному периоду коммунизма

стр. 46: к военному коммунизму

стр. 56: ГПЮ

стр. 58: *геню*

стр. 61: „Куриная история”

стр. 64: „Рог с пистолетом”

стр. 61: Карларадековской

стр. 64: *Персональной*

стр. 62: антирелигиозной пропаганды

стр. 65: *антирелигиозных огорчений*

стр. 68-69: объяснил... что пока гм... конечно, это было б хорошо... о, видите ли, все-таки пресса... хотя впрочем, такой проект уже назревает в Совете труда и обороны... честь имеем кланяться.

стр. 72: *объяснил, что это невозможно.*

стр. 76: расторопное волоколамское гепеу приняло меры, в результате которых, во-первых, бесследно исчез пророк,

стр. 81: *расторопные волоколамские власти приняли меры, в результате которых, во-первых, пророк прекратил свою деятельность,*

стр. 81: От слова „товарищ” Персиков настолько отвык, что сейчас оно резнуло ему ухо. Он явно раздражился.

стр. 86: *(пропущено)*

стр. 82: это государственной важности дело

стр. 88: *это величайшей важности дело*

стр. 83: государству необходимо

стр. 88: *нам необходимо*

стр. 86: Маня

стр. 92: *Дора.* (В рукописи жену зовут Дора; к тому же сам Александр Семенович Рокк имеет другое имя-отчество: Семен Борисович.)

стр. 91: Одессе.

стр. 97: *Екатеринославе.*

стр. 91: огромную политиколитературную газету

стр. 97: *огромную газету*

стр. 91: коммунально-хозяйственной.

стр. 97: *(пропущено)*

стр. 91: Кремль принял Александра Семеновича. Кремль согласился с ним

стр. 97: *Рокка выслушали в комиссии животноводства, согласились с ним*

стр. 93: с комитетом в Грачевке

стр. 99: с городом Грачевкой

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

Собаچه сердце опубликовано впервые в *Гранях* (Мюнхен), 1968, № 69 и в альманахе *Студент* (Лондон, 1968), №№ 9-10. (Оба эти издания представляют испорченный самиздатовский текст.) Лучший текст выпустило издательство ИМКА (Париж, 1969). Несмотря на цензурование нескольких слов (например, „сволочь”), это — самый полный текст.

Булгаков начал повесть в январе 1925 года. Датировка машинописи в архиве Библиотеки им. Ленина — январь-март 1925 года. Как отмечено в предисловии, первоначальное заглавие было *Собаچه счастье. Чудовищная история*.

До сих пор повесть не издавалась в Советском Союзе, и, видимо, запрещается даже упоминание этого произведения. Зато *Собаچه сердце* (как и „Дьяволиада”, и „Роковые яйца”) переведено на многие языки мира (английский, немецкий, французский, голландский, финский, японский, румынский, сербохорватский, итальянский и др.).

Примечание

стр. 132: *Жиркость* — советское учреждение по изготовлению косметических средств.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ii — М. А. Булгаков, 1926 г.

xxxv — Страница рукописи „Роковых яиц”, с авторской правкой.

xxxvi — Американский перевод „Роковых яиц”.

xxxvii — Американский перевод *Собачьего сердца*.

xxxviii — Американский перевод сборника *Дьяволиада*.

2 — Первое издание *Дьяволиады*, 1925 г. Титульный лист.

42 — Страница рукописи „Роковых яиц”, с авторской правкой.

118 — Парижское издание *Собачьего сердца*, 1969 г. Обложка
Ю. Анненкова.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие v

ДЬЯВОЛИАДА 3

РОКОВЫЕ ЯЙЦА 43

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 119

Комментарии 212

Список иллюстраций 216

О „ДЬЯВОЛИАДЕ“:

„Единственное современное ископаемое в „Недрах“ — „Дьяволиада“ Булгакова. У автора, несомненно, есть верный инстинкт в выборе композиционной установки: фантастика, корнями вырастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин — одна из тех „немногих“ формальных рамок в какие можно уложить наше вчера — 19, 20-й год.“

Е. Замятин

О „РОКОВЫХ ЯЙЦАХ“:

„Грех Персикова принадлежит к разряду неизбежно наказуемых в мире Булгакова: он настолько поглощен своей работой, что потерял всякий интерес к окружающему миру — и окружающим людям. Персиков заблуждается, но он не представляет собой силы зла, в каком бы дьявольском облике ни мерещился он Рокку — который сам является представителем таких сил“.

Из „Предисловия“

О „СОБАЧЬЕМ СЕРДЦЕ“:

„Факт, что эта занимательная повесть представляет собой политическую аллегорию, не подлежит сомнению — и не моему сомнению, а сомнению советских цензоров, запретивших не только ее публикацию, но даже и упоминание о ней. Приведенная выше цитата — одна из многих, метафорически отождествляющих противостоющую операцию с большевистской революцией, когда новые вожди России пытались установить диктатуру пролетариата — того самого пролетариата, которого не любит, по его собственному признанию, Преображенский“.

Из „Предисловия“

Cover design: Alix Melbourne

ISBN 0-88233-698-3

\$25.00

ИЗДАТЕЛЬСТВО „АРДИС“

- О. Мандельштам, „Камень”, 1971.
О. Мандельштам, „Триствия”, 1972.
О. Мандельштам, „Египетская марка”, 1973.
О. Мандельштам, „Проза”, 1983.
М. Булгаков, „Собрание сочинений в 10-ти томах”,
Том 1, 1982; Том 2, 1984; Том 3, 1983.
М. Булгаков, „Неизданный Булгаков”, 1977.
В. Ходасевич, „Собрание сочинений в 5-ти томах”,
Том 1, Полное собрание стихотворений, 1983.
М. Цветаева, „Фотобиография”, 1980.
А. Ахматова, „Четки”, 1972.
Б. Пастернак, „Сестра моя жизнь”, 1975.
И. Бабель, „Забытые произведения”, 1979.
А. Белый, „Почему я стал символистом”, 1982.
Саша Соколов, „Школа для дураков”, 1976.
Саша Соколов, „Между собакой и волком”, 1980.
Саша Соколов, „Полисандрия”, 1984.
И. Бродский, „Часть речи”, 1977.
И. Бродский, „Новые стансы к Августе”, 1983.
А. Битов, „Пушкинский дом”, 1978.
Ф. Искандер, „Сандро из Чегема”, 1979.
Ф. Искандер, „Кролики и удавы”, 1982.
В. Войнович, „Иванькиада”, 1976.
В. Войнович, „Выбор”, 1984.
„Метрополь: Литературный альманах”, 1979.
В. Набоков, „Дар”, 1975.
В. Набоков, „Приглашение на казнь”, 1976.
В. Набоков, „Бледный огонь”, 1983.
В. Набоков, „Пнин”, 1983.
В. Аксенов, „Бумажный пейзаж”, 1983.
В. Аксенов, „Остров Крым”, 1982.
В. Аксенов, „Ожог”, 1981.
К. Вагинов, „Гарпаго尼亚да”, 1983.
О. Мандельштам, „Разговор о Данте”, 1983.
М. Булгаков, „Мастер и Маргарита”, 1979.
Р. Орлова, „Воспоминания о непрошедшем времени”, 1983.
А. Гладилин, „Большой беговой день”, 1983.
И. Бродский, „Урания”, 1984.
Ф. Сологуб, „Мелкий бес”, 1979.
А. Белый, „Серебряный голубь”, 1979.
С. Довлатов, „Наши”, 1983.
Ю. Алешковский, „Николай Николаевич”, 1980.
Н. Евреинов, „Самое главное”, 1979.
Н. Эрдман, „Самоубийство”, 1979.
А. Платонов, „Котлован”, 1973.